Юрий Адаменко

Гимн Поверженного мира



Песнь Иссохшего сада

Легенды Эрлона

Книга первая

Юрий Адаменко

Песнь Иссохшего Сада

«Автор»
2026

Адаменко Ю.

Песнь Иссохшего Сада / Ю. Адаменко — «Автор», 2026

Пятьсот лет назад люди, эльфы и гномы победили Тьму и построили новую империю. Они возвели города на костях поверженного врага, зажгли искусственное солнце и объявили миру вечное утро. Но внизу, под мраморными башнями, по-прежнему идёт дождь, люди задыхаются фабричным дымом, а старые камни начинают петь.Когда в нижних кварталах Актавиума находят убитого курьера, расследование поручают Валериану — инспектору Коллегии Равновесия.След ведёт его от преступных кварталов к тайнам имперской верхушки, от забытых подземелий к земле, где когда-то цвели сады.Чем глубже Валериан копает, тем яснее становится: официальная история Победы построена на лжи. А равновесие, которым так дорожит Империя, оплачено чужими жизнями и будущим целого мира.Эпическое фэнтези о тайнах прошлого, цене власти и человеке, который решился спросить, что именно было повержено пятьсот лет назад.

© Адаменко Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 6
Глава первая 7
I. Дождь над Актавиумом 7
II. Клик и Кодекс 9
III. Капсула с фиолетовой печатью 13
IV. Лифт сквозь три неба 16
V. Под искусственным солнцем 20
Глава вторая 24
I. Фреска 24
II. Устав 26
III. Гаспар 29
IV. «Ахеронская стрела» 32
V. Кто был стеной 35
Глава третья 38
I. «Вишнёвая ветвь» 38
II. Дорога к Вишнёвому Долу 41
III. Вишнёвая аллея 43
IV. Семеро за столом 46
V. Ничего. Совсем. 49
Глава четвёртая 53
I. Люк под кухней 53
II. Медное сердце 55
III. Журнал мастера Корвина 59
IV. Лира 62
V. Та, что помнит 65
Глава пятая 68
I. Пристав Тибо Марк 68
II. Свистулька 71
III. Закрытый глаз 73
IV. Обратная дорога 76
V. Портсигар 79
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 84
Глава шестая 85
I. Лаборатория почв 85
II. Письма с рисунками 87
III. Квартал Мокрых Фонарей 90
IV. Контора под зелёным фонарём 93
Конец ознакомительного фрагмента. 97

Юрий Адаменко
Песнь Иссохшего Сада

Был сад — и не стало сада,
лишь пыль на ладонях серых.
Мы звали это наградой,
а это был счёт — за веру.
— Гимн поверженного мира, Песнь первая

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕПЕЛ ВАЛЛАРИИ

Глава первая

ГОРОД ТРЁХ ЛЕСТНИЦ

Говорят, Актавиум заложили в год Победы на камнях, привезённых с развалин Клыка, — чтобы город стоял на костях Тьмы. Летописцы позднейших времён находили в этом горькую справедливость. Город и вправду стоял на костях. Только не на тех.

— Летопись Серой Стражницы. Книга Свидетельств, I

I. Дождь над Актавиумом

Дождь над Актавиумом не начинался и не кончался. Он просто был — как был старый камень под ним, как была река Ахерон, тёмная и неторопливая, что пятьсот лет несла к далёкому морю городскую копоть, и как были три великие лестницы, по которым город поднимался от воды к небу, будто человек, всю жизнь карабкающийся из ямы и так и не решивший, что будет делать наверху.

Старики в Брюхе говорили, что когда-то дождь шёл только по осени, а весной над Ахероном стояли туманы — белые, тихие, пахнущие яблоневым цветом из заречных садов, — и рыбаки выходили в них на лодках с фонарями, и казалось, будто по реке плывут звёзды. Старики говорили, что тогда в Ахероне водились серебряные угри длиной в человеческий рост и что их ловили только в ночь Победы, по одному на улицу, и съедали всем кварталом, с хлебом и тёмным пивом, распевая песни, которых теперь никто не помнит. Старики много чего говорили. Им не верили, как не верят всякому, кто помнит лучшее время, — потому что лучшее время всегда кончается ровно тогда, когда рождаешься ты сам.

Но книги говорили то же самое, а книги не бывают стариками.

В Городском хранилище Срединного Града, в зале, куда не пускали никого, кроме переписчиков и мышей, лежала «Хроника Основания» — тяжёлый том в переплёте из потемневшей бычьей кожи, с медными уголками, позеленевшими от времени. Её начал писать брат Аврелиан Тихий, монах Ордена Трёх Светил, в первый год после Падения Клыка, когда на месте нынешнего Актавиума ещё стоял военный лагерь победителей: палатки, коновязи, походные кузни и длинные ряды свежих могил вдоль реки. Брат Аврелиан записал, что в тот год над Ахероном было так много солнца, что вода в реке казалась золотой, и что солдаты, вернувшиеся с севера, плакали, когда видели, как в заречных лугах цветёт клевер. «Ибо, — писал он своим ровным, круглым почерком, — шли мы в землю Тьмы, где не растёт ничего, кроме пепла, и вернулись в землю, где всё растёт. И думали мы, что так будет вечно, ибо Тьма повержена, и некому больше отнимать у нас свет».

Брат Аврелиан ошибся, как ошибаются все, кто пишет слово «вечно». Но об этом позже.

Город заложили на третий год после Победы. Первые камни его стен — так утверждала «Хроника» и так учили в каждой приходской школе Империи — привезли на телегах с развалин Железного Клыка: чёрный северный базальт, оплавленный в последнем штурме, тяжёлый, как грех, и холодный даже в летний полдень. Первый Регент, Луций Великодушный, велел положить эти камни в основание городских стен, «дабы город стоял на костях Тьмы и напоминал всем грядущим поколениям, на чём зиждется их мир». Детям в школах читали эти слова вслух, и дети повторяли хором, и учителя кивали, и никто никогда не спрашивал, хорошо ли это — строить свой дом на чужих костях.

Камни Клыка и теперь можно было увидеть — если знать, где искать. Они лежали в самом низу, у воды, в фундаментах старых шлюзов и в стенах затопляемых подвалов Брюха: чёрные, гладкие, без единой прожилки мха, хотя всё остальное в Брюхе покрывал мох, плесень, ржавчина и та особая зеленовато-бурая слизь, которую местные называли «городским салом».

На камнях Клыка ничего не росло. Ни за пятьсот лет. Ни за один день. Брюховские дети на спор прижимались к ним щекой и говорили, что камни гудят — тихо, низко, как струна, которую задели в соседней комнате. Взрослые над этим смеялись. Взрослые вообще не любили говорить о камнях Клыка.

* * *

Город стоял на трёх ярусах, и каждый ярус смотрел на нижний сверху вниз.

Выше всех, над облаками смога, поднимались **Шпили** — белые мраморные башни Коллегии Равновесия, Палаты Регентов, Академий и старых аристократических родов, тонкие и высокие, как кости птицы. Их начали возводить во втором веке Победы, когда Империя разбогатела на хлебе Валлярии, на железе Вересковых Марок и на торговле эфирными кристаллами, которые гномы добывали в горах на востоке и продавали людям втридорога. Мрамор для Шпилей возили с юга, из каменоломен Белой Гряды, по двадцать телег в день на протяжении семидесяти лет. На строительстве погибло, говорят, четыре тысячи каменщиков. Их имена нигде не записаны. Зато на каждой башне высечено имя Регента, при котором её закончили.

Над Шпилями висело искусственное солнце.

Это был огромный эфирный кристалл в бронзовой оправе, поднятый на тонком шпиле Башни Света и зажжённый в восемьдесят седьмом году Победы, при Регенте Галлиане Светоносном. Кристалл привезли из гномьих недр Казад-Грума за баснословные деньги — говорили, за него было заплачено урожаем всей Валлярии за три года, — и шлифовали его девять лет. Когда его зажгли, весь город вышел на улицы, и люди плакали от счастья, потому что под ним наступило вечное утро. С тех пор над Шпилями всегда сияло ясное, тёплое, золотое утро — летом и зимой, днём и ночью. Тучи расступались перед кристаллом, как слуги перед господином. Там не знали дождя, и дамы в платьях цвета сливок гуляли по висячим садам и не пачкали подолов.

Ниже лежал **Срединный Град** — красный кирпич, медные крыши, позеленевшие от дождей, колокольни ремесленных гильдий, конторы, мануфактуры, полицейские участки с решётками на окнах, банки с колоннами, похожими на ножки перевёрнутых столов, рынки, театры, трактиры, лавки, где продавали всё, что можно продать честно, и половину того, что нельзя. Здесь жили купцы, мастера, чиновники, учителя, лекари, отставные офицеры и вдовы отставных офицеров. Здесь дождь шёл, но вежливо: по водостокам, по желобам, в аккуратные чугунные решётки мостовых с вензелями городского совета. Здесь жили люди, у которых было что терять, и потому они очень боялись тех, кто жил ещё ниже. И очень завидовали тем, кто жил выше. И то и другое они называли «порядком».

А ниже было **Брюхо**.

Брюхо лежало у самой воды, в старых затопляемых подвалах и полуподвалах первого города — того, что строили победители, ещё пахнущие кровью Войны. Когда Срединный Град начал расти вверх, он рос прямо на крышах первого города, как новый лес растёт на старом валежнике, и старые улицы постепенно оказались под землёй: тёмные, сырые, с низкими сводами, по которым ползли трубы, и с мостовыми, которые дважды в год заливала вода. Над Брюхом смыкались арки акведуков и сточные трубы двух верхних ярусов, и всё, что текло сверху, текло сюда. Здесь жили грузчики и прачки, лодочники и мусорщики, рабочие эфирных фабрик и их дети, воры, нищие, гадалки, шлюхи, беглые подмастерья, орки из квартала у Чёрных ворот, которых не пускали выше, и эльфы-изгнанники из квартала Мокрых Фонарей, которые сами не хотели подниматься. Здесь горели фонари на суррогатном эфире — дешёвом, мутном, зеленоватом, от которого у людей к сорока годам серели лёгкие. Здесь всегда пахло рекой, дымом, жареной рыбой, мокрой шерстью и чем-то сладковато-гнилым, к чему привыкаешь на третий день и чего не замечаешь до конца жизни.

В Актавиуме была поговорка, которую не записывали ни в одну книгу, но знал каждый ребёнок:

Всё, что падает в этом городе, падает в Брюхо — вода, деньги и люди.

В то утро, весной пятисотого года от Падения Клыка, в Брюхо упало ещё одно тело.

* * *

Оно висело на решётке Третьего шлюза, зацепившись воротником за ржавый прут, и вода — бурая, маслянистая, с радужной плёнкой суррогатного эфира — перекатывалась через его плечи, будто пыталась разбудить. Течение раскачивало его медленно, мерно, из стороны в сторону, как маятник больших часов, и в этом движении было что-то почти торжественное, словно мёртвый отбивал время, которое у него кончилось.

Над шлюзом горели два кристаллических фонаря на кованых кронштейнах. Один — мутно-зелёный, на суррогате, — шипел и потрескивал под каплями. Другой — старый, настоящий, ещё с тех времён, когда город не экономил на свете для Брюха, — почти погас, и его голубой огонёк дрожал в глубине стекла, как последний вздох. В их смешанном свете лицо утопленника казалось удивлённым. Так бывает почти всегда: люди умирают с таким видом, будто смерть — это последнее, чего они от жизни ожидали.

На каменных мостках над шлюзом стоял человек в тёмном плаще, подняв воротник, и курил.

Он был худ той худобой, которая бывает у людей, слишком долго питавшихся кофе, табаком и чужими бедами. Лицо резкое, словно вырезанное ножом, который немного дрожал в руке мастера, — особенно у левой скулы, где от виска к углу рта тянулся старый белый шрам, тонкий, как трещина на фарфоре. Виски седые, хотя ему не было и сорока. Глаза серые и очень усталые — глаза человека, который давно знает конец всех историй и всё равно дочитывает каждую до последней страницы, потому что так положено. Плащ, длинный, тёмный и вечно мокрый, топорщился карманами — их было, если считать внутренние, четырнадцать: в одних лежали блокноты, карандаши, мел и складная лупа, в других — то, что в служебных протоколах называлось «служебными артефактами», а в разговорах с самим собой — «хламом, который однажды спасёт тебе жизнь».

Его звали Валериан. Фамилии у него не было — точнее, была, но он не любил её вспоминать, и в Коллегии давно привыкли звать его просто по имени, как зовут старую собаку при участке или городские часы на башне. Он был старшим инспектором Коллегии Равновесия, и в Брюхе его знали все: одни — по имени, другие — по шраму, третьи — по запаху.

Запах был особый. Самокрутка в его пальцах тлела горьким сизым огоньком, и над мостками стлался тяжёлый, пряный, чуть дурманящий дым. «Чёрная Полынь» — трава, которую курили грузчики, висельники и старухи-знахарки; трава, которую в Срединном Граде считали признаком дурного воспитания, а в Шпилях вообще не знали. Валериан предпочитал её всем сигарам Шпилей. Во-первых, она стоила три медяка за кисет. Во-вторых, она прочищала голову, как холодная вода. А в-третьих — и об этом он не рассказывал никому, — дым от неё, если подумать как следует, имел привычку застывать в воздухе.

Валериан подумал как следует. Над шлюзом, в мокром, неподвижном воздухе, дым медленно, неохотно свернулся в маленький кривой вопросительный знак и повис над утопленником, слегка покачиваясь, как вывеска над дверью трактира.

— Не умничай, — сказал Валериан дыму.

Знак качнулся — и не исчез.

II. Клик и Кодекс

Из внутреннего кармана, того, что у самого сердца, Валериан достал металлический портсигар — старый, помятый, с вытертой гравировкой на крышке, от которой осталось только полслова: «…ВЕЧНО». Что было вечно и кому, давно стёрлось о сукно его плащей. Он купил этот портсигар двенадцать лет назад на аукционе конфиската в подвалах Коллегии, вместе с

тем, что лежало внутри, — за шесть медяков, потому что никто, кроме него, не захотел платить за «заводную игрушку неизвестного назначения, неисправную».

Он щёлкнул крышкой и вытряхнул на ладонь мышь.

Мышь была заводная: латунное тельце размером с половину ладони, гладкое, отполированное пальцами до тёплого блеска; медные ушки, тонкие, как лепестки; хвост из цепочки мелкого плетения, какое делают только гномьи ювелиры; четыре лапки на крохотных шарнирах, каждая с тремя коготками. А вместо глаз — две бусины мутного кристалла, в глубине которых жил слабый, ровный голубой огонёк, похожий на свет звезды, видимой со дна колодца.

Её звали Клик, потому что ничего другого она не говорила.

Двенадцать лет назад, когда Валериан принёс её домой и впервые завёл крошечным ключиком, мышь не шевельнулась. Он завёл её снова. И снова. Неделю он разбирал и собирал её механизм на кухонном столе, при свечах, с лупой и пинцетом, и не нашёл ни одной поломки — пружина была цела, шестерёнки чисты, оси смазаны. Мышь просто не хотела двигаться. А потом однажды ночью, когда он заснул над Кодексом, уронив голову на руки, его разбудил тихий, настойчивый стук. Мышь сидела на раскрытом томе и стучала лапкой по металлической застёжке переплёта — *тук, тук-тук, тук*. Старым кодом телеграфистов. Одно слово, повторённое трижды:

«Масло. Масло. Масло».

С тех пор он капал ей в шарниры часовое масло каждый вечер. А она с тех пор служила ему лучше, чем любой судебный алхимик Коллегии. Откуда в ней взялся кристалл, умевший видеть остаточную магию, кто сделал её и зачем, почему она выбрала его, — этого Валериан не знал. Он однажды спросил. Мышь ответила: *«Не твоё дело»*, и он больше не спрашивал. В конце концов, у всякой старой жены есть право на прошлое.

— Подъём, старуха, — сказал он, доставая из кармана пипетку и капнув масла в шарнир её передней лапы. — Работа.

Клик повернула голову, щёлкнула, недовольно дёрнула цепочкой хвоста и спрыгнула на мокрые мостки. Она добежала до края, постояла, словно пробуя воздух, — Валериан знал, что на самом деле она слушает, хотя ушей у неё в человеческом смысле не было, — а потом нырнула в бурую воду, вынырнула у мертвеца на груди и скрылась у него под воротником, там, где сквозь мокрую рубаху темнела рана.

Валериан ждал, затягиваясь горьким дымом.

За его спиной, у сходней, переминались двое констеблей Срединной стражи — молодые, бледные, в новеньких синих мундирах с медными пуговицами, которые в Брюхе выглядели так же уместно, как бальные туфли в свинарнике. Их прислали сверху по вызову смотрителя шлюза, и они с первой минуты стояли так, будто их сейчас ограбят, — и, судя по тому, как на них поглядывали лодочники с соседней пристани, это было не так уж далеко от правды.

Клик вынырнула из-под воротника утопленника, отряхнулась — брызги полетели во все стороны, мелкие, как бисер, — взбежала по свисающей руке мертвеца на решётку, по решётке на мостки, по мосткам на сапог Валериана, по сапогу, по колену, по рукаву плаща — на плечо. Уселась на его открытый портсигар и застучала лапкой по металлу.

Тук. Тук-тук. Тук. Тук-тук-тук.

Валериан читал этот стук, как читают письма от давней жены: не глядя, наперёд зная, что там будут упрёки.

— Нож, — перевёл он вслух, и констебли, переглянувшись, придвинулись. — Узкий, длинный, с односторонней заточкой. Удар снизу вверх, под рёбра, левой рукой. Убит на суше, не в воде, — воды в лёгких нет. Около полуночи. Кристаллическая пыль под ногтями… эфирная, синего отлива. Горная, неогранённая. — Он помолчал. — Значит, контрабандист. Нёс необработанные кристаллы, гномьи, мимо таможни. Носил давно — пыль въелась. — Клик

стукнула ещё раз, раздражённо. — И ещё ты считаешь, что я вчера пересушил тебе шестерёнки. Я слышал, Клик. Вечером поговорим.

Мышь щёлкнула и отвернулась к реке.

Констебли смотрели на Валериана так, как смотрят на ярмарочного фокусника, который только что достал кролика из их собственной фуражки.

— Это всё… она сказала? — прошептал младший.

— Она сказала гораздо больше. Остальное непечатно. — Валериан присел на корточки у края мостков, вытянул руку и, морщась от холода воды, приподнял левую кисть утопленника.

На внутренней стороне запястья, там, где под кожей бьётся жилка, был выжжен маленький знак: цветок лотоса о пяти лепестках, тёмно-зелёный, словно нарисованный тушью, хотя Валериан знал, что это не тушь, а что-то куда более стойкое. Знак синдиката «Зелёный Лотос». Курьерская метка — лепестки без сердцевины. Мелкая сошка, носильщик, мальчик на побегушках у эльфов из квартала Мокрых Фонарей.

Сам мертвец эльфом не был — человек, лет двадцати пяти, с круглым деревенским лицом и обгрызенными ногтями. Лотос нанимал людей для грязной работы: людям было проще ходить по городу, на людей меньше смотрели. А эльфы потом мстили за своих — даже за наёмных, даже за людей, — так, что об этом ещё долго рассказывали шёпотом.

Валериан опустил руку мертвеца обратно в воду и выпрямился.

— Инспектор, — робко сказал старший констебль, — мы тут… свидетеля нашли. Вроде как.

* * *

Свидетелем оказалась старуха-торговка жареной рыбой, сидевшая под каменной аркой у второго шлюза на перевёрнутой корзине. Перед ней на жаровне шипели в масле мелкие ахеронские уклейки, и запах от них стоял такой, что у Валериана, не евшего со вчерашнего полудня, свело желудок.

Она видела, кто нёс тело. Потом она не видела, кто нёс тело. Потом она видела, но не скажет, потому что ей здесь жить, а констеблям — нет, и пусть господа в синем идут себе наверх, к своим колокольням, и не мешают честным людям торговать.

Валериан не спорил. Он купил у неё кулёк уклеек — горячих, хрустящих, с крупной солью, — съел три штуки, похвалил, а потом положил ей в корзину серебряную полумарку. Монета была большая, тяжёлая, с профилем Регента Галлиана; в Брюхе на неё можно было неделю кормить семью. Старуха посмотрела на монету. Потом на Валериана. Потом, не поворачивая головы, — на насосную будку у дальнего конца шлюза, кирпичную, приземистую, с ржавым маховиком на стене и выбитым окном.

— Здоровый, — сказала она одними губами. — Рыжий. Левша. С ночи там сидит, ждёт, пока вы, синие, уберётесь. Думает, раз тихо — значит, не найдут.

— Спасибо, матушка.

— Не за что, сынок. — Старуха вдруг прищурилась, разглядывая его лицо. — А я тебя знаю. Ты фонарщика Тибальда сын. Того, что на Канатной горел.

— Горел — громко сказано, матушка. Кашлял.

— Все они кашляли, — сказала старуха и спрятала монету куда-то в недра шинели. — Хороший был человек. Мне всегда фонарь первым зажигал. Ступай, сынок. Береги себя.

Валериан кивнул, бросил окурок в воду и пошёл к будке.

Он шёл неторопливо, руки в карманах, как ходят люди, у которых нет причин торопиться, — по скользким от водорослей камням, мимо пришвартованных лодок, мимо мальчишек, удивших с мостков, — и именно поэтому человек, прятавшийся за ржавым маховиком насоса, решил, что у него есть время. Это было его ошибкой. В Брюхе время вообще было ошибкой: его всегда оказывалось меньше, чем думаешь.

Дверь будки распахнулась, когда Валериан был в десяти шагах. На порог вывалился крупный, мокрый, насмерть перепуганный детина — рыжий, небритый, в разодранной куртке портового грузчика, — с длинным узким ножом в левой руке и эфирным самопалом в правой. Самопал был кустарный, собранный из обрезка водопроводной трубы, двух медных колец и треснувшего синего кристалла, примотанного проволокой, и гудел так, будто вот-вот лопнет.

— Стой! — заорал детина, и голос у него сорвался на визг. — Стой, легавый! Стой, или я тебя…

Валериан остановился.

Он посмотрел на самопал. На треснувший кристалл в проволочной обмотке. На нож. На перепуганные, налитые кровью глаза человека, который не спал всю ночь, сидя в сырой будке рядом с местом своего первого убийства. Вздохнул.

— Статья сто двенадцатая Имперского уголовного кодекса, — сказал он ровным, скучным, бесконечно усталым голосом, каким в судах зачитывают опись изъятого имущества. — «Об убийстве, совершённом из корыстных побуждений в черте столичного округа». Часть вторая: «Деяние, совершённое с сокрытием тела в водах общего пользования, отягчает вину». Статья сто сорок девятая: «О вооружённом сопротивлении чину Коллегии Равновесия при исполнении им служебных обязанностей». Статья двести шестая, часть первая: «О незаконном изготовлении и хранении эфирного оружия кустарного образца». Наказание по совокупности — по усмотрению чина, в пределах необходимого.

— Чего?.. — сказал детина. Самопал в его руке опустился на дюйм.

— Это значит, — терпеливо пояснил Валериан, — что сейчас я выстрелю.

Детина нажал на спуск первым.

Самопал кашлянул, плюнул синей искрой, взвыл на высокой ноте — и треснувший кристалл, как и следовало ожидать от треснувшего кристалла, лопнул прямо у него в кулаке, с сухим звоном, словно разбилась рюмка. Синие осколки брызнули во все стороны. Детина заорал, выронил и самопал, и нож, затряс обожжённой рукой. Валериан выстрелил один раз, коротко, почти не целясь, из маленького служебного пистолета, который всё это время держал в кармане плаща, — в правое плечо, чуть ниже ключицы. Детина сел на мокрые камни, как будто у него подломились ноги, и посмотрел на свою кровь с тем же удивлением, с каким, наверное, смотрел ночью на кровь курьера.

Валериан подошёл, носком сапога отбросил нож в воду, достал наручники.

— Пределы необходимого, — сказал он, защёлкивая браслеты. — Это тоже из Кодекса. Статья девятая, общая часть. Его, между прочим, писали неглупые люди.

— Мне заплатили, — выдохнул детина, бледнея. — Мне заплатили, инспектор, я не сам… Сказали — курьер не должен дойти. Не должен дойти до Мокрых Фонарей. Пять марок дали. Пять марок, инспектор…

— Кто дал?

— Не знаю. — Глаза детины забегали. — Не видел лица. В сером… в сером плаще. С капюшоном. Голос тихий такой. Сухой.

Валериан помолчал. Клик, сидевшая у него на плече, вдруг перестала шевелиться — как замирает живая мышь, услышав кошку.

— Что нёс курьер?

— Не знаю! Мешочек какой-то… Тот, в сером, забрал. Я только… только нож…

Валериан выпрямился. Посмотрел через шлюз — туда, где в тумане над водой мерцали зелёные огни квартала Мокрых Фонарей.

Там, на краю дальней пристани, неподвижно стояли трое. Высокие, тонкие, в тёмных длинных плащах поверх чего-то шёлкового, с убранными в узлы серебристыми волосами. Эльфы. Они не двигались, не говорили, не смотрели в его сторону — они смотрели на тело,

висящее на решётке. Валериан не знал, давно ли они там стоят. Он подозревал, что дольше, чем он сам.

Один из них — тот, что в середине, — медленно поднял голову и встретился с ним взглядом через сорок шагов дождя.

Валериан коротко кивнул. Эльф ответил таким же коротким кивком — едва заметным, как движение ресниц.

Это был договор. Немой, древний, как само Брюхо: *мы видели, что ты взял убийцу. Мы запомним*.

Когда Валериан снова посмотрел на пристань, там никого не было.

III. Капсула с фиолетовой печатью

Он не успел даже раскурить новую самокрутку.

Вдоль стены шлюза, от будки смотрителя куда-то вверх, в туман и смог, тянулась латунная труба пневмопочты — позеленевшая, в заплатах, перехваченная ржавыми хомутами. По таким трубам бежали письма и приказы по всему Актавиуму: из Шпилей в Срединный Град, из Срединного Града в Брюхо, — и никогда обратно, потому что в Брюхе приёмники стояли, а отправителей не было. Город не ждал писем снизу.

В трубе что-то зашипело, засвистело, нарастая, — и медная капсула, пролетев последние сажени, звякнула о приёмник и выкатилась в лоток у будки, ещё горячая от трения.

Смотритель шлюза, сухой старик с деревянной ногой, вынул её, посмотрел на печать — и протянул Валериану, держа двумя пальцами, как держат дохлую крысу.

Капсула была медная, отполированная, с фиолетовым сургучом Коллегии на крышке. На сургуче — оттиск весов с двумя равными чашами и под ними три буквы: «Р.Р.Р.» — *Равновесие, Разум, Ревность*. Девиз Коллегии, который курсанты в шутку расшифровывали иначе, но только шёпотом и только в казармах. Фиолетовый сургуч означал, что капсулу отправили из Шпилей. А двойная печать — что отправили лично ему, и что вскрыть её мог только он.

Внутри лежала узкая полоска плотной бумаги с водяными знаками. Три слова, почерк Магистра-инквизитора Олдрика — мелкий, острый, без единого лишнего росчерка, как стрелки часов:

«Немедленно. Шпили. Лично».

Валериан прочитал. Перечитал. Сложил бумажку вчетверо и спрятал в один из четырнадцати карманов — тот, где лежали все бумажки, которые однажды могли бы ему пригодиться. Там их было уже около сотни, и он ни разу ни одной не воспользовался. Но выбросить не мог.

— Оформите, — сказал он констеблям, кивнув на рыжего детину, которого те уже грузили в лодку смотрителя. — Протокол на моё имя, рапорт сдадите в Третий участок. Курьера не трогайте.

— Как — не трогать, инспектор? Тело же. Его в мертвецкую положено…

— За ним придут.

— Кто придёт?

— Те, кто положено, — сказал Валериан. — И ещё. Отвезите старухе с рыбой ещё полумарку. Скажите, что от города.

— От города? — не понял констебль.

— Город ей должен больше, — сказал Валериан и, подняв воротник, пошёл к лифту.

* * *

До лифта Третьей лестницы было полторы мили — через самое сердце Брюха, по улицам, которые днём были темнее, чем ночью в Срединном Граде.

Он мог бы взять лодку или свистнуть рикшу. Но он пошёл пешком. Он всегда ходил по Брюху пешком. Это был его город — не тот, что сиял наверху, а этот: мокрый, тёмный,

вонючий, честный в своей нечестности. Здесь, по крайней мере, никто не притворялся, что живёт в вечном утре.

Улица Канатная тянулась вдоль старой городской стены, той самой, первой, сложенной из камней Клыка. В Брюхе она была одной из немногих широких улиц — когда-то по ней волокли канаты для речных барж, и с тех пор здесь остались крюки в стенах, чугунные тумбы и запах пеньки, который не выветрился за триста лет. Над улицей, через каждые сорок шагов, стояли фонари — высокие, кованые, с узорными колпаками в виде пламени. Их ставили при Регенте Галлиане, в тот же год, что зажгли искусственное солнце, — «дабы и в нижнем городе был свет». Тогда в них горел настоящий эфир, голубой и чистый. Теперь — суррогат, мутный, зеленоватый, чадящий, и колпаки почернели от копоти.

У четырнадцатого фонаря Валериан замедлил шаг.

Он всегда замедлял шаг у четырнадцатого фонаря, хотя никогда не останавливался. Фонарь ничем не отличался от остальных — разве что на его чугунном столбе, на высоте человеческого роста, был нацарапан маленький кривой знак: круг с лучами. Солнце. Его нацарапал гвоздём семилетний мальчик тридцать один год назад, сидя на плечах у отца, пока тот менял фонарю кристалл.

— Зачем тут солнце? — спросил тогда отец, увидев.

— Чтобы ему было не скучно, — сказал мальчик. — Наверху ведь есть солнце. А тут — нет.

Отец засмеялся. Он редко смеялся — фонарщики вообще редко смеются, у них работа одинокая и ночная, — но тогда засмеялся, и закашлялся, как всегда, и долго не мог остановиться, держась рукой за столб.

Тибальд-фонарщик служил городу двадцать шесть лет. Каждый вечер он выходил из дома на Канатной с лестницей на плече, с сумкой кристаллов на боку и с длинным медным крюком в руке, и зажигал сто двенадцать фонарей — от Третьего шлюза до Чёрных ворот. Каждое утро гасил. Он знал каждый фонарь по имени — да, у них были имена, он сам их дал: Старый Ворчун у пристани, Кривая Марта у трактира, Близнецы у моста, Сторож у ворот. Он пел им песни, которые пели все фонарщики Актавиума, — длинные, протяжные, с припевом, похожим на вздох:

Гори, гори, огонь на столбе,
за всех, кто во тьме, — гори.
Я ночь зажигаю — не для себя,
для тех, кто дойдёт до зари.

Он верил в Империю так, как верят только те, кому больше не во что верить. Каждый год в День Победы он брал сына на плечи и шёл с ним наверх, в Срединный Град, на площадь Девяти Мостов, к Арке Героев Клыка, и стоял там в толпе, и смотрел на стёртые имена, и говорил одно и то же:

— Вот тут, сын, начинается мир. Здесь люди сказали Тьме «нет». Без них не было бы ни фонарей, ни города, ни нас с тобой. Запомни.

Мальчик запомнил.

Тибальд-фонарщик умер на сорок втором году жизни, зимой, от того, что лекари называли «серыми лёгкими», а фонарщики — «фонарной чахоткой». Суррогатный эфир, которым городской совет за восемь лет до того велел заправлять фонари Брюха, стоил в четыре раза дешевле настоящего. Экономия для городской казны составила, как потом писали в отчёте, «значительную сумму, направленную на благоустройство Срединного Града». Когда Тибальд умирал, он попросил сына открыть окно, чтобы видеть, зажёг ли его сменщик фонари на Канатной. Сменщик зажёг. Тибальд кивнул, сказал: «Хорошо», — и больше ничего не сказал.

Мальчику было двенадцать. Через шесть лет он поступил в курсантскую школу Коллегии Равновесия — единственное место в Империи, куда сына фонарщика из Брюха принимали

без взятки, если он сдавал экзамен по Кодексу на высший балл. Он сдал. Он выучил Кодекс наизусть — все двенадцать томов, четыре тысячи шестьсот статей, — потому что ему казалось, что, если знать закон целиком, можно понять, почему один человек живёт под вечным солнцем, а другой умирает, зажигая фонари для других.

Он так и не понял. Но Кодекс помнил до сих пор.

Валериан прошёл мимо четырнадцатого фонаря, не останавливаясь, и только чуть коснулся пальцами нацарапанного солнца — как касаются дверного косяка, уходя из дома.

* * *

У Кривого переулка, где Канатная делала изгиб, стояла часовая мастерская.

Это была крохотная лавка, втиснутая между прачечной и заколоченной пивной, с витриной, в которой на бархате, давно выцветшем до цвета пыли, лежали десятки часов — карманных, каминных, настенных, с кукушками и без, с боем и с музыкой, целых и разобранных. Все они шли. И все показывали разное время. Над дверью висела вывеска — медная шестерёнка размером с тележное колесо, а под ней надпись мелкими рунами Дурката и крупными имперскими буквами: «ФРАР. ЧАСЫ. ЗАМКИ. ВСЁ, ЧТО ТИКАЕТ».

Валериан жил над этой мастерской девять лет.

Дверь была открыта. Из глубины лавки, из-за верстака, заваленного шестерёнками, пружинами и крошечными винтиками, высунулась голова — огромная, лохматая, с рыжей бородой, заплетённой в три косы и заправленной за широкий кожаный пояс, с лупой, вставленной в правый глаз, и с носом, похожим на картофелину, пережившую тяжёлую зиму.

Фрар был гномом. Точнее, бывшим гномом, как он сам говорил: сто двадцать лет назад его изгнали из Казад-Грума за то, что он, по словам Совета Старейшин, «прислушивался к камню без дозволения». Что это значило, Фрар не объяснял. Он осел в Брюхе, выучил имперский язык, научился пить людское пиво, которое презирал, и чинить людские часы, которые презирал ещё больше, и за сто двадцать лет так и не привык к небу, хотя здесь, в Брюхе, неба почти не было видно.

— Уже? — прогудел Фрар. Голос у него был такой, будто говорил колодец. — Рано ты сегодня. Солнце ещё не встало.

— Тут оно не встаёт, Фрар.

— Это ты так думаешь. — Гном вынул лупу из глаза и посмотрел на Валериана, прищурившись. — Ты бледный. Бледнее, чем обычно. Это хорошо, значит, будет работа. А мышь опять на тебя дуется — вон, хвостом дёргает.

Клик на плече Валериана выстучала что-то короткое по пряжке воротника. Фрар понимал её код не хуже Валериана и хмыкнул в бороду.

— Говорит, ты опять её пересушил. Слушай жену, человек. Жена плохого не скажет.

— Меня вызывают наверх, — сказал Валериан. — К Олдрику.

Фрар перестал улыбаться.

Он положил лупу на верстак, вытер огромные руки о кожаный фартук и вышел из-за верстака — маленький, широкий, как дверной проём, на коротких толстых ногах в подкованных сапогах. Подошёл к двери, выглянул наружу, посмотрел вдоль улицы, сначала налево, потом направо. Потом вернулся и сказал, понизив голос до глухого рокота:

— Камни гудят, Валериан.

— Камни Клыка?

— Они самые. Вчера ночью. Я сорок лет слушаю этот город — я знаю, как он звучит. Как скрипят его сваи, как поёт вода в трубах, как ворочаются фундаменты, когда Ахерон поднимается. А камни Клыка всегда молчали. Мёртвые они, понимаешь? Пятьсот лет мёртвые. — Фрар покачал лохматой головой. — А вчера они загудели. Тихо. Вот так. — Он издал низкий, едва слышный звук, похожий на гудение шмеля в закрытой банке. — Будто кто-то далеко-далеко ударил в колокол, а они ответили.

— И что это значит?

— Не знаю. — Гном снова посмотрел на него — долго, тяжело, по-гномьи. — В Казад-Груме, когда я был молодым, Хранители Печати говорили: если старый камень заговорит — значит, где-то оборвалась струна. Мы смеялись над ними. Хранители были старики и сказочники.

— А теперь?

— А теперь я сам старик, — сказал Фрар. — И мне не смешно. Иди, человек. Иди к своему Олдрику. И держи мышь при себе — она умнее вас обоих.

Валериан кивнул и пошёл дальше.

* * *

У нижней станции лифта Третьей лестницы, как всегда по утрам, стояла очередь.

Здесь были рабочие эфирных фабрик Срединного Града — серолицые, молчаливые, в одинаковых брезентовых куртках, с жестяными коробками для обеда под мышкой; прачки с огромными узлами чужого белья, которое они поднимали наверх чистым и спускали вниз грязным; мальчишки-посыльные; торговка цветами с корзиной бледных тепличных фиалок; двое орков в рабочих фартуках, стоявших чуть поодаль от остальных, так, чтобы ни к кому случайно не прикоснуться. Орков пускали в лифт последними, если оставалось место. Обычно не оставалось.

Валериан прошёл мимо очереди — инспекторам Коллегии было положено проходить первыми, — и у самой решётки остановился. Обернулся. Посмотрел на орков. Один был старый, седой, с обломанным клыком; другой — молодой, почти мальчик, с упрямой складкой между бровей.

— Вы двое, — сказал Валериан. — Со мной.

Очередь загудела. Смотритель лифта — толстый, в засаленном мундире с медными пуговицами — открыл было рот.

— Статья триста четвёртая, — сказал Валериан, не повышая голоса. — «Инспектор Коллегии вправе привлекать любых лиц для сопровождения при исполнении». Они меня сопровождают.

— Куда сопровождают, господин инспектор?

— Наверх, — сказал Валериан. — На работу. Они опаздывают.

Старый орк посмотрел на него глубоко посаженными жёлтыми глазами — долго, внимательно, без благодарности и без страха, — и вошёл в клетку. Молодой — за ним.

Решётка лязгнула. Кристалл в основании лифта загудел, и клетка дрогнула и пошла вверх.

IV. Лифт сквозь три неба

Эфирный лифт Третьей лестницы был стар, как сама Империя, и, как сама Империя, всё ещё работал — со скрежетом, с перебоями, с долгими необъяснимыми остановками между ярусами, когда кабина вдруг замирала в пустоте и начинала тихо раскачиваться, а пассажиры замолкали и смотрели друг на друга, — но работал.

Его построили в сто сорок девятом году Победы, при Регенте Оттоне Строителе, и тогда он считался чудом света. На его открытие приехали гномьи мастера из Казад-Грума; они, как рассказывают, долго щупали тросы, цокали языками и сказали в конце концов, что «для людей неплохо». В те годы мастера ещё любили украшать то, что служило всем, и кабину лифта сделали в виде клетки из чёрного кованого железа, увитой бронзовыми листьями — дубовыми, вишнёвыми, виноградными, — а на верхней решётке поставили бронзовую птицу с раскрытыми крыльями. Птица когда-то держала в клюве кристалл, светивший пассажирам в пути.

Кристалл давно украли. Птица осталась — с пустым клювом и позеленевшими крыльями, похожая на старуху, которая забыла, что хотела сказать.

Кристалл в основании лифта, огромный, с бочку размером, светился блёкло-голубым и гудел, и этот гул отдавался в подошвах, в коленях, в зубах. Клетка шла вверх вдоль отвесной стены Брюха — той стены, что отделяла нижний город от среднего и была сложена из того же чёрного базальта Клыка, только поверх него за пятьсот лет наросли кирпич, штукатурка, трубы, балконы, лестницы, вывески, бельевые верёвки и целые дома, прилепленные к камню, как ласточкины гнёзда.

Валериан стоял у решётки и смотрел вниз.

Брюхо уходило из-под ног, как дно, видимое сквозь мутную воду. Крыши притонов, крытые ржавым железом и просмолённой парусиной. Узкие, как трещины, переулки, где горели зелёные огоньки суррогатных фонарей. Сточные каналы — чёрные, медленные, с пятнами радужной плёнки. Шлюзы, мосты, баржи. Отблеск изумрудных фонарей в квартале Мокрых Фонарей, где на крышах, как говорили, растут бамбуковые рощи в кадках и где ночью поют на языке, которого никто в Брюхе не понимает. Дальше — Чёрные ворота, низкие и кряжистые, а за ними оркский квартал: кибитки, вросшие в землю, дымы костров, пёстрые полотнища на верёвках. И за всем этим — Ахерон. Тёмная, медленная, огромная гладь реки, уходящая на юг, в дождь, в туман, в никуда.

Старый орк стоял рядом с ним и тоже смотрел вниз.

Он был очень стар — для орка, конечно; орки редко доживают до девяноста, а этому было никак не меньше семидесяти. Кожа серо-зелёная, задубевшая, в мелких морщинах, как кора старого дуба. Левый клык обломан у самого корня. Седые волосы заплетены в одну толстую косу, перехваченную костяным кольцом. На руках, от запястий к локтям, тянулись старые, выцветшие татуировки — узоры, похожие на письмена, только Валериан не знал такого письма.

— Ты не должен был этого делать, человек, — сказал вдруг орк. Голос у него был низкий, хриплый, с тем рокочущим акцентом, с которым орки говорили на имперском, — словно каждое слово перекатывали по камням.

— Чего — этого?

— Брать нас. Они запомнят. — Орк кивнул вниз, на очередь, на смотрителя. — Скажут: инспектор водит с собой зелёных. Скажут: инспектор любит пепельников.

— Пусть говорят.

— Тебе будет плохо.

— Мне уже плохо, — сказал Валериан. — Я сорок лет живу в Брюхе.

Орк коротко хмыкнул — то ли смешок, то ли кашель.

— Тридцать восемь, — сказал он.

Валериан повернулся к нему.

— Что?

— Тебе тридцать восемь. Не сорок. Я помню, как тебя носили на плечах. Фонарщик. Тибальд. Он давал нам огонь, когда наши костры гасли от дождя. Бесплатно. — Орк смотрел вниз, не мигая. — Мы помним, кто давал огонь.

Валериан молчал. Клетка дрогнула, проходя какой-то стык в направляющих, и бронзовая птица над головой качнулась.

— Как тебя зовут? — спросил он наконец.

— Здесь — Грем. Грем-грузчик. — Орк помолчал. — Дома звали иначе. Но дома нет.

— А дом — это где?

Старый орк поднял глаза — не вниз, на Брюхо, и не вверх, на Шпили, а куда-то на север, сквозь стены, сквозь камень, сквозь пятьсот миль дождя и степи.

— Там, где ветер, — сказал он. — Мой дед говорил: ветер помнит всё. Кто строил стены, кто их разбил. Ветер не врёт, люди врут. — Он помолчал и добавил что-то на своём языке

— гортанное, ритмичное, похожее одновременно на песню и на стук копыт. Молодой орк, стоявший у дальней решётки, вскинул голову и посмотрел на деда так, словно тот сказал что-то запретное.

— Что это значит? — спросил Валериан.

— Старая песня. Глупая. — Грем отвернулся. — Про то, что первым пал не враг.

— А кто?

Но орк больше ничего не сказал.

* * *

Потом клетка вошла в смог.

На минуту, на две — Валериан никогда не считал — не стало ничего, кроме бурой мглы. Она была плотной, как войлок, и тёплой, как дыхание больного, и пахла серой, мокрым железом, горелым маслом и суррогатным эфиром. Здесь, на середине пути, между Брюхом и Срединным Градом, висела вся копоть, которую выбрасывали в небо сотни фабричных труб, тысячи печей, десятки тысяч фонарей. Смог не поднимался выше — его держала невидимая граница тёплого воздуха, — и не опускался ниже, потому что внизу всегда шёл дождь, и дождь прибивал его к земле. Так он и висел между ярусами, как грязная простыня, натянутая между двумя мирами, и в Брюхе его называли «Пеленой», а в Срединном Граде — «Брюховым потолком».

В Пелене лифт всегда замедлялся. Кристалл гудел натужнее, клетка вздрагивала, и бронзовые листья на решётке покрывались мелкими каплями грязной росы. Молодой орк закашлялся. Прачка с узлом белья, стоявшая в углу, натянула платок на рот и нос. Клик у Валериана на плече недовольно зашевелилась и спряталась за воротник.

Потом смог поредел, расступился — и внизу открылся Срединный Град.

Красные крыши под дождём. Тысячи красных крыш — черепичных, жестяных, медных, — сбегающих по склонам холма, как волны, застывшие в момент удара о берег. Колокольни ремесленных гильдий — каждая со своим флюгером: золотой ключ у Гильдии Замочников, серебряная рыба у Гильдии Рыботорговцев, железная наковальня у Кузнецов, бронзовая книга у Переписчиков. Дымы мануфактур — белые от эфирных, чёрные от угольных. Купола банков. Зелёный квадрат Ботанического сада, где под стеклянными колпаками росли деревья со всего света, кроме тех, что росли в Брюхе. Длинная колоннада Земельной гильдии. Каменные мосты через каналы — девять мостов на одной площади, сходившихся к её центру, как спицы колеса.

А в центре площади Девяти Мостов стояла Арка Героев Клыка.

Её построили в сорок третьем году Победы — тёмная, тяжёлая громада из того же северного базальта, высотой в двенадцать человеческих ростов. На её столбах были высечены рельефы: штурм Железного Клыка, падение чёрных башен, бегство тёмного воинства. А под рельефами — имена. Сто восемь имён тех, кто первым поднялся на стены Клыка. Люди, эльфы, гномы — по тридцать шесть от каждого народа. Время, дождь и копоть стёрли почти все. Каждую весну городские власти обещали обновить надписи. Каждую весну находились дела поважнее. Из ста восьми имён теперь можно было прочесть только девятнадцать, и никто уже не помнил, кем были остальные.

На вершине Арки стояла статуя — женщина в доспехах, с поднятым к небу мечом. Её называли Победой. Меч у неё когда-то был золочёным; теперь он почернел, а у самой статуи откололся нос, и с тех пор она выглядела так, будто вечно морщится от какого-то неприятного запаха.

Валериан смотрел на Арку, пока она не скрылась за колокольней Переписчиков.

Вот тут, сын, начинается мир.

— Срединный ярус! — объявил смотритель, и клетка, лязгнув, остановилась у широкой каменной площадки, где пахло мокрой мостовой, жареными каштанами и конским навозом.

Орки вышли первыми. Старый Грем, проходя мимо Валериана, на мгновение остановился, коснулся двумя пальцами своего обломанного клыка, а потом — лба. Валериан не знал, что значит этот жест. Он узнал это гораздо позже — далеко отсюда, у костра под открытым небом, — и тогда ему стало стыдно, что он не ответил.

* * *

Лифт Третьей лестницы шёл только до Срединного Града. Выше ему ходу не было.

Чтобы подняться в Шпили, нужно было пересечь площадь, пройти по Галерее Регентов — длинному крытому мосту с витражами — и выйти к Мраморному лифту. Это был совсем другой лифт. Белая кабина из полированного камня, отделанная серебром; бархатные скамьи; хрустальный плафон под потолком; лифтёр в ливрее с белыми перчатками и такой прямой спиной, словно его в детстве привязали к доске. У входа стояли двое гвардейцев Палаты в серебряных кирасах и проверяли пропуска.

Валериан показал служебный жетон. Гвардеец посмотрел на жетон, потом на мокрый плащ, потом на шрам — и, чуть заметно поморщившись, отступил.

В кабине уже кто-то был.

У дальней стены, на бархатной скамье, сидел высокий эльф — неподвижный, прямой, в длинном серебристо-сером одеянии, расшитом мелкими листьями. Лица его не было видно: его закрывала маска из прозрачного стекла, тонкая, как мыльный пузырь, сквозь которую проступали только смутные очертания черт, будто смотришь на лицо сквозь воду. Рядом с ним стояли двое слуг — тоже эльфы, тоже в масках, но попроще, — и держали между собой небольшой ларец из чёрного дерева, окованный серебром.

Валериан знал, кто это. Посольство Парящих Садов Сильв-Эрин прибыло в столицу три недели назад, и о нём много писали в листках: эльфы приехали обсуждать торговлю кристаллами и пошлины на шёлк. Посол был из какого-то Высшего Дома — Валериан не запомнил, из какого. Эльфы из Садов редко спускались к людям. Говорили, что они не выносят запаха людских городов, что они носят маски, чтобы не дышать человеческим воздухом, и что за последние сто лет никто из людей не видел лица высокорождённого эльфа.

Решётка закрылась. Кабина бесшумно, мягко, без единого толчка пошла вверх — так, как скользит по воде лебедь.

Клик на плече Валериана вдруг замерла.

Потом очень тихо, почти неслышно, застучала по пряжке воротника. Валериан опустил глаза, будто разглядывая пол, и прочитал:

«Ларец. Внутри — живое. Много. Не дышит».

Он медленно поднял глаза на ларец. Тот был закрыт, заперт на серебряный замок в виде листа. Из-под крышки не просачивалось ни звука, ни света. Но Клик никогда не ошибалась.

Эльф в стеклянной маске повернул голову. Сквозь мутное стекло Валериан не видел его глаз, но почувствовал взгляд — холодный, внимательный, как прикосновение лезвия к шее.

— Вы смотрите на мой ларец, человек, — сказал посол. Голос у него был певучий, чистый, с долгими гласными, — красивый голос, как у хорошей скрипки. И совершенно пустой.

— Простите, ваше высочество, — сказал Валериан. — Профессиональная привычка. Я смотрю на всё, что заперто.

— Это дар, — сказал эльф. — Дар Лорду-Регенту от моего Дома. В знак дружбы между нашими народами. Дружбы, скреплённой пятьсот лет назад кровью под стенами Тьмы.

— Тогда я тем более не смею смотреть, — сказал Валериан и отвёл глаза.

Посол помолчал. Потом отвернулся. Остаток пути они проехали в тишине.

Кабина поднималась, и в её хрустальном плафоне свет становился всё ярче, всё теплее, всё золотее — пока наконец не стал таким ярким, что Валериану пришлось зажмуриться.

V. Под искусственным солнцем

Лифт вышел из облаков, и сразу ударило солнце.

Оно ударяло всегда, хотя Валериан поднимался сюда сотни раз за двадцать лет службы. Он знал, что это случится; он готовился; он щурился заранее. И всё равно каждый раз это было как удар в лицо — золотой, сухой, тёплый, бесстыдный свет, обрушивающийся сверху, как вода из опрокинутого ведра. После Брюха, после Пелены, после красных мокрых крыш Срединного Града этот свет был почти непристойным. Он ничего не скрывал и ничего не прощал. Он высвечивал каждую пылинку на рукаве, каждое пятно на плаще, каждую морщину у глаз, — и делал это с таким равнодушным великолепием, с каким солнце в пустыне высвечивает кости павших верблюдов.

Двери Мраморного лифта бесшумно разошлись. Эльфийский посол поднялся со скамьи, не взглянув на Валериана, и вышел, а за ним — слуги с чёрным ларцом. Валериан подождал, пока они отойдут, достал из кармана тёмные очки в тонкой стальной оправе — специальные, для Шпилей, купленные у слепого оптика на Медном рынке, — надел их и вышел следом.

Он стоял на Террасе Прибытия.

Это была широкая площадка из белого мрамора, огороженная балюстрадой с вазонами, в которых цвели розы — алые, белые, золотые, — и кусты жасмина, подстриженные в форме шаров. Под ногами был мрамор, такой чистый, что в нём отражалось небо. Над головой было небо — ясное, глубокое, прозрачно-голубое, без единого облака, какого никогда не бывало в Брюхе и почти никогда в Срединном Граде. А посреди этого неба, на тонком, как игла, шпиле Башни Света, сиял кристалл.

Искусственное солнце. Его невозможно было разглядеть — только почувствовать: огромный сгусток золотого сияния в бронзовой оправе, от которого во все стороны расходились лучи, тёплые, ровные, неподвижные. Настоящее солнце движется, встаёт и садится. Это — не двигалось никогда. Четыреста тринадцать лет оно висело на одном и том же месте, светило одним и тем же светом, и под ним всегда было одно и то же время дня: девятый час утра, ясный и тёплый, когда роса уже высохла, а жара ещё не пришла.

Валериан подошёл к балюстраде и посмотрел вниз.

Внизу было облако. Ровное, белое, плотное, как взбитые сливки, оно лежало у подножия Шпилей бескрайним полем, и сквозь него ничего не было видно — ни Срединного Града, ни Брюха, ни реки. Только белое. Из облака поднимались белые башни, и казалось, что Шпили стоят не на земле, а на небе, что под ними нет никакого города, никаких людей, никаких фонарей и шлюзов, и никогда не было. Дождь шёл где-то там, под облаком. Здесь его не существовало.

Чем выше — тем суше, подумал Валериан. *И чем суше — тем меньше помнят, откуда берётся вода.*

Самокрутка, которую он, забывшись, всё ещё держал в пальцах — погасшая, размокшая, — вдруг выпустила последнюю тонкую струйку дыма. Дым поднялся над балюстрадой, помедлил, словно раздумывая, — и свернулся в маленькую чёткую стрелку, остриём вниз. Туда, под облако.

— Знаю, — сказал Валериан тихо. — Не напоминай.

Стрелка растаяла в золотом свете.

* * *

Путь к Башне Равновесия лежал через Висячие сады.

Их разбили на мраморных террасах между башнями, на мостах, на балконах, на крышах — везде, куда можно было насыпать земли. Землю для них, как говорили, привезли когда-то из Валлария, самую лучшую, самую чёрную, и каждую весну подсыпали свежую. Здесь росло всё,

что может расти под вечным утренним солнцем: апельсиновые деревья в кадках, кипарисы, лавры, тюльпаны, лилии, плющ, виноград, гранаты, розы — бесконечные розы, сотни сортов, — и редкие южные цветы с длинными именами, которые садовники Шпилей выписывали из-за моря. В садах журчали фонтаны. Пели птицы в золочёных клетках. По аллеям, посыпанным белым песком, прогуливались люди.

Люди Шпилей. Валериан всегда смотрел на них с тем странным, отстранённым любопытством, с каким смотрят на рыб в аквариуме. Они были красивы — почти все. Высокие, стройные, с гладкой кожей, никогда не знавшей ветра; с волосами, уложенными в сложные причёски; в лёгких одеждах светлых тонов — кремовых, жемчужных, лавандовых, бледно-золотых. Дамы с кружевными зонтиками, которые им были не нужны. Господа с тростями, на которые им не нужно было опираться. Дети в белых костюмчиках, играющие в серсо на лужайке. Старики, которые не выглядели стариками. Где-то играла лютня — медленную, сладкую, бесконечно приятную мелодию. Где-то смеялись — тихо, мелодично, как звенят хрустальные бокалы.

Никто из них никогда не видел дождя. Валериан это знал точно — он однажды допрашивал юную графиню из Шпилей, свидетельницу по делу о краже фамильных жемчугов, и она спросила его, правда ли, что внизу «вода падает прямо с неба, сама по себе», и правда ли, что от этого не умирают.

На него смотрели. Он чувствовал взгляды — короткие, брезгливые, мгновенно отведённые. Мокрый плащ. Сапоги в брюховой грязи. Запах полыни, реки и жареной рыбы. Шрам. Какая-то дама прижала к носу надушенный платочек. Какой-то господин демонстративно перешёл на другую сторону аллеи. Двое мальчиков в белых костюмчиках перестали играть в серсо и уставились на него, раскрыв рты, — так, как дети в Брюхе уставились бы на живого единорога.

Валериан шёл, глядя прямо перед собой. Он привык.

На повороте аллеи, у фонтана с бронзовыми дельфинами, он остановился.

Там стояло дерево — молодая вишня, тонкая, изящная, в большой мраморной кадке с вензелем Регентов. Таких вишен в Висячих садах было много: их привозили из Валлария, саженцами, и они цвели здесь круглый год под вечным солнцем, не зная ни зимы, ни осени. Эта вишня тоже цвела — облако бело-розовых лепестков, тонкий медовый запах.

Но одна её ветка — нижняя, обращённая к фонтану, — была серой.

Не сухой. Не мёртвой. Не больной. Серой — ровного, мягкого, пепельного цвета, словно её окунули в золу. Серыми были листья, серыми — бутоны, серой — кора. Серые лепестки на серых цветах. Ветка не шевелилась, хотя от фонтана тянуло лёгким ветерком и все остальные ветки покачивались.

Валериан шагнул к дереву.

— Не трогайте, господин!

Из-за кустов жасмина выскочил садовник — пожилой человек в зелёном фартуке, с испуганным лицом, — и встал между Валерианом и вишней, раскинув руки, словно защищал ребёнка.

— Не трогайте, пожалуйста! Нам велено… велено никого не подпускать. Это болезнь. Грибок. Это пройдёт.

— Давно это?

— Три дня, господин. — Садовник оглянулся через плечо, понизил голос. — Три дня как. Сначала один листок. Потом ветка. Нам сказали — грибок с юга, с новыми саженцами завезли. Сказали — накрыть и молчать. Вот, я сейчас накрою…

Он торопливо достал из кармана фартука кусок зелёной ткани и набросил на ветку. Ткань легла на серые листья — и Валериан увидел, как несколько из них беззвучно осыпались вниз, в кадку, мелкой серой пудрой, тоньше муки.

— Кто велел молчать? — спросил он.

Садовник посмотрел на его жетон, потом в лицо, — и побелел.

— Простите, господин инспектор. Ваши велели. Из Коллегии. Люди в серых мантиях.

Клик на плече Валериана выстучала по пряжке два коротких удара. *«Пусто»*.

Валериан долго смотрел на зелёную ткань, под которой пряталась серая ветка. Потом кивнул садовнику и пошёл дальше. Он не знал ещё, что это значит. Но он знал, что запомнит это место — фонтан с бронзовыми дельфинами, мраморную кадку, зелёную ткань, — так же, как запомнил четырнадцатый фонарь на Канатной.

* * *

Башня Равновесия была самой высокой в Шпилях, если не считать Башни Света, и самой строгой.

Она поднималась из белого облака, как поднимается из воды белая кость: гладкая, без украшений, без балконов, без статуй, с узкими окнами-бойницами, расположенными в строгом порядке, как строки в книге. Её построил архитектор Северин Безликий — он подписывал свои чертежи не именем, а знаком весов, и никто не знал, как он выглядел, — по заказу первого Магистра Коллегии, и с тех пор её никогда не перестраивали. Над входом, на высоте трёх этажей, был высечен девиз Коллегии, каждая буква в человеческий рост: «РАВНОВЕСИЕ ЕСТЬ ВЫСШЕЕ БЛАГО».

У дверей стояли двое стражей Коллегии в тёмно-фиолетовых плащах, с алебардами. Они знали Валериана в лицо и пропустили молча.

Внутри было прохладно и тихо, и пахло мрамором, ладаном и старой бумагой. Центральный зал Башни — Зал Двенадцати Весов — уходил вверх на высоту десяти этажей, и по его стенам спиралью поднималась бесконечная лестница, а вдоль лестницы стояли статуи: двенадцать Магистров Коллегии, по одной на каждый век — нет, на каждые сорок лет, — каждый со своими весами в руках. Последняя ниша — двенадцатая — была пуста. Её оставили для нынешнего Магистра-инквизитора. Для Олдрика.

Валериан поднимался по лестнице, и его шаги гулко отдавались под сводами. Сорок два этажа. Лифт в Башне был, но им пользовались только Магистры. Остальные ходили пешком. «Путь к Равновесию, — говорил Устав, — должен быть трудным, дабы каждый, кто идёт по нему, имел время подумать».

Валериан думал.

Он думал о курьере с лотосом на запястье, которого убили, чтобы он не дошёл до Мокрых Фонарей. О человеке в сером плаще с тихим сухим голосом. О старом орке Греме и его песне про то, что первым пал не враг. О Фраре и камнях Клыка, которые вдруг загудели. О ларце эльфийского посла, в котором было что-то живое, что не дышало. О серой ветке под зелёной тканью.

Ничто из этого не было связано. Ничто из этого не было делом. Двадцать лет службы научили его, что мир полон случайных совпадений, и тот, кто ищет связь во всём, кончает в лечебнице для умалишённых на Старой Мельничной, рисуя углём на стенах схемы заговоров. Он это знал.

Но дым его самокрутки, когда он остановился передохнуть на тридцатом этаже у узкого окна и закурил, выстроился в воздухе в странную фигуру: пять маленьких кружков, соединённых тонкими линиями, как звёзды в созвездии. А в центре — шестой, пустой.

Валериан долго смотрел на эту фигуру. Потом рассеял её ладонью и пошёл дальше.

На сорок втором этаже лестница кончалась у высоких дверей из чёрного дерева, окованных серебром. Перед дверями была приёмная — маленькая, строгая комната с одним окном, одной скамьёй и одним столом, за которым сидел секретарь Олдрика, старый, сухой, бесцветный человек по имени Кассиан, служивший здесь, кажется, со времён постройки Башни.

— Старший инспектор, — сказал Кассиан, не поднимая глаз от бумаг. — Магистр ждёт вас. Уже сорок минут.

— Меня задержали в Брюхе. Убийство.

— Магистр знает, — сказал Кассиан. — Магистр всегда знает.

Он встал, подошёл к чёрным дверям и, прежде чем открыть их, помедлил. Впервые за двадцать лет Валериан увидел, как секретарь Олдрика поднял на него глаза — бледные, водянистые, старые.

— Будьте осторожны, старший инспектор, — сказал Кассиан очень тихо. — Магистр сегодня очень спокоен.

И открыл двери.

Из глубины длинного холодного зала, из-под огромной фрески, на которой светлые воины трёх народов шли на приступ чёрной крепости, раздался голос — ровный, сухой, без малейшего оттенка чувства:

— Входите, Валериан. Закройте дверь. И, ради всего святого, погасите эту мерзость.

Валериан затушил самокрутку о каблук, спрятал окурок в карман и вошёл.

Двери за ним закрылись с мягким, тяжёлым, окончательным звуком — как закрывается крышка ларца.

Глава вторая

ПОРУЧЕНИЕ БЕЗ БУМАГ

Статья первая. Равновесие есть высшее благо Империи. Всякое знание, способное нарушить его, есть знание опасное и подлежит хранению, а не распространению.

— Устав Коллегии Равновесия, ред. 212 года П.К.

I. Фреска

Кабинет Магистра-инквизитора Олдрика был длинным и холодным залом, похожим на неф пустого храма, и окна его выходили на восток, туда, где искусственное солнце стояло выше всего.

Окон было семь — высоких, узких, стрельчатых, с переплётами из тёмной бронзы, — и сквозь них падали семь одинаковых полос золотого света, ровных, неподвижных, как прутья решётки. Свет ложился на пол из чёрного и белого мрамора, выложенного шахматной клеткой, и в нём не плясало ни одной пылинки. Пыли здесь не было. Олдрик не терпел пыли так же, как не терпел беспорядка, опозданий, лишних слов и запаха «Чёрной Полыни».

Пахло здесь ладаном, чернилами и холодным камнем.

А стены — от пола до сводчатого потолка, по всей длине зала — покрывала фреска.

Её знала вся Империя. Её копии висели в каждой ратуше, в каждой школе, в каждом полицейском участке, её печатали на календарях и на обёртках праздничного печенья, и дети с трёх лет умели узнавать на ней героев, как узнают буквы. «Победа над Тьмой» кисти мастера Ульпиана Златоглазого, писанная в двухсотый год от Падения Клыка по заказу Регента Северина Благочестивого и признанная — так сказано в каждом учебнике — «величайшим творением человеческого гения». Мастер Ульпиан писал её одиннадцать лет. Говорят, он ослеп, заканчивая последний фрагмент, и последние мазки клал на ощупь, со слов учеников. Говорят, перед смертью он попросил, чтобы его похоронили у её подножия. Регент отказал: Башня Равновесия — не кладбище.

Фреска начиналась у дверей и шла вдоль левой стены, через торцовую, к правой — так, что входящий оказывался внутри неё, как внутри сражения.

Слева шли люди. Сотни людей в золочёных латах, под алыми знамёнами, с копьями, мечами, арбалетами, — нескончаемые колонны, спускающиеся с холмов Дола Ахерона, и впереди всех — первый Регент, Луций Великодушный, на белом коне, с лицом, полным такой благородной скорби, что у школьников наворачивались слёзы. Справа шли эльфы — в серебряных плащах, с длинными луками, с белыми цветами в волосах, лёгкие и прекрасные, как сон, — а над ними, в облаках, парили их Сады, сияющие, как созвездия. Снизу, из-под земли, из тёмных проёмов в скалах, поднимались гномы — коренастые, бородатые, в рогатых шлемах, с молотами и секирами, — и казалось, что сама земля разверзается, выпуская их на битву.

А впереди, на торцовой стене, на чёрном холме под чёрным небом, стояла крепость.

Железный Клык. Мастер Ульпиан никогда его не видел — к его времени от Клыка оставались только руины в далёкой степи, куда не ездил никто из людей, — и написал его таким, каким его описывали в старых хрониках: чёрные башни, острые, как клыки, сплетённые между собой мостами и цепями, огонь в бойницах, багровые тучи над шпилями, и вокруг — орды. Орды существ с серо-зелёной кожей и звериными лицами, в грубых шкурах, с костяными топорами, искажённые злобой так, что было трудно поверить, будто это когда-то были живые существа. Мастер Ульпиан писал орков по рассказам. Он никогда не видел орка вблизи.

Над крепостью, на самой высокой башне, стояла фигура.

Тёмный Лорд. Малар Проклятый. Высокий, тонкий, в чёрном плаще, развевающемся на ветру, с поднятыми к небу руками, — и без лица. Там, где должно было быть лицо, мастер Ульпиан оставил пустоту: ровное тёмное пятно, гладкое, как вода в колодце ночью. Когда ученики спросили его почему, мастер ответил: «У Зла нет лица». Ученики записали. Эта фраза вошла во все учебники риторики.

А над всем этим, над тремя народами, над крепостью, над безликой фигурой, сияло солнце. Огромное, золотое, — такое же, как то, что висело сейчас за окнами кабинета, — и лучи его, острые, как копья, падали на чёрные башни и прожигали их насквозь.

Валериан видел эту фреску сотни раз. И каждый раз, глядя на неё, удивлялся одному и тому же: как сильно она лжёт. Не в фактах — факты, наверное, были верны: была крепость, был штурм, был Тёмный Лорд, была Победа. Она лгала в свете. На ней было слишком много солнца. Ни одна битва в истории не происходила под таким солнцем. Битвы происходят в грязи, в дыму, в крови, в темноте, под дождём. Валериан видел достаточно мелких битв в Брюхе, чтобы знать: свет в них никогда не падает так красиво.

* * *

Под фреской, у торцовой стены, за массивным столом из чёрного дерева, сидел Олдрик.

Он был высок — даже сидя, он казался выше любого стоящего перед ним, — сух, сед и аскетичен до той степени, когда аскетизм превращается в разновидность гордыни. Ему было шестьдесят три года; выглядел он на пятьдесят — или на сто, в зависимости от освещения. Ряса Магистра — тёмно-фиолетовая, почти чёрная, из грубой шерсти, без единого украшения, кроме маленьких серебряных весов на груди, — лежала на нём без единой складки, словно её отлили из металла. Лицо узкое, бледное, с высоким лбом, с глубокими бороздами от крыльев носа к уголкам рта, с тонкими, бескровными губами. Волосы, совершенно белые, коротко острижены. Руки — длинные, худые, с выступающими суставами — лежали на столе ладонями вниз, симметрично, неподвижно, по обе стороны от единственной бумаги.

Это было лицо человека, который много лет назад решил, что знает, как устроен мир, и с тех пор только подтверждал это решение. Лицо без сомнений. Лицо, в котором не осталось места ни для радости, ни для гнева, ни для страха — только для порядка.

Глаза у него были светлые, почти бесцветные, серо-голубые, как зимнее небо над рекой, и очень спокойные.

Валериан служил под началом Олдрика одиннадцать лет. За эти годы он научился читать его лицо — не по выражению, выражения на нём не бывало, а по мелочам: по тому, как лежат руки, как дышит, как часто моргает. И главное правило он вывел давно: чем спокойнее у Олдрика глаза, тем хуже новости.

Об Олдрике в Коллегии рассказывали многое, и почти всё — шёпотом. Говорили, что он родился в Шпилях, в одном из старейших домов, но отказался от родового имени в шестнадцать лет, когда принёс курсантскую присягу, — и с тех пор подписывался одной буквой. Говорили, что он ни разу не был женат, не держал прислуги, спал по четыре часа на жёсткой койке в келье при кабинете и ел раз в день — хлеб, сыр и воду. Говорили, что он лично допрашивал вересковых мятежников в четыреста семидесятом и что ни один из них не солгал ему дважды. Говорили, что в молодости он был другим — смеялся, писал стихи, любил какую-то девушку из Академии, — и что девушка эта умерла, а он перестал смеяться. Ничего из этого Валериан не мог проверить. Олдрик не оставлял следов, как не оставляет их нож, вытертый о бархат.

Одиннадцать лет назад именно Олдрик вытащил его наверх. Валериан тогда был младшим инспектором Третьего участка Брюха, без связей, без покровителей, без надежды на повышение, — сын фонарщика, знавший Кодекс лучше, чем прокуроры, и потому раздражавший всех. Он раскрыл дело об отравленных кристаллах на эфирной фабрике Морна — дело, которое начальство велело закрыть, а он не закрыл. Его должны были выгнать со службы. Вместо этого его вызвали на сорок второй этаж Башни Равновесия, и человек с бесцветными глазами

сказал ему: «Вы упрямы, неудобны и не умеете подчиняться. Это очень плохо для инспектора и очень хорошо для меня. Мне нужен кто-то, кто будет находить правду. Решать, что с ней делать, буду я». С тех пор Валериан находил. А Олдрик решал.

Иногда — всё чаще в последние годы — Валериан ловил себя на том, что не знает, что именно Олдрик решает. Дела, которые он приносил на сорок второй этаж, уходили туда, как вода в песок: без приговоров, без процессов, без следа. Он не спрашивал. Он знал первую статью Устава.

Сейчас глаза Магистра были спокойны, как вода подо льдом.

— Старший инспектор, — сказал Олдрик, не поднимаясь, не поднимая головы, не меняя положения рук. — Вы пахнете Брюхом.

— Я пришёл оттуда, Магистр.

— Это я понимаю. — Олдрик чуть повернул голову, и семь полос золотого света легли на его лицо, как шрамы. — Я не понимаю другого: почему вы продолжаете туда ходить. Я трижды предлагал вам кабинет в Срединной канцелярии. С окном. С секретарём. С жалованием на треть выше нынешнего. Трижды вы отказались. Объясните мне, Валериан, — я спрашиваю не как начальник, а как человек, который ценит рациональность. Что вы там находите?

— Преступников, Магистр.

— В Срединной канцелярии тоже есть преступники.

— Там есть только бумаги о них, — сказал Валериан. — А преступники — внизу. Они пахнут, кричат, стреляют, лгут и иногда раскаиваются. Бумаги не раскаиваются никогда.

Олдрик позволил себе тень улыбки — тонкую, как трещина на фарфоре, и такую же холодную. Она появилась и исчезла в одно мгновение, словно её никогда не было.

— Садитесь.

Перед столом стояло одно кресло — высокое, жёсткое, с прямой спинкой, обитое тёмной кожей, и такое неудобное, что, просидев в нём четверть часа, человек начинал ёрзать, как школьник на экзамене. Валериан подозревал, что Олдрик выбирал кресла для посетителей так же тщательно, как слова, — и с той же целью. Он сел.

Клик под воротником замерла. Она всегда замирала в этом кабинете. Валериан однажды спросил её почему; мышь не ответила.

Олдрик некоторое время молчал, глядя на него. Потом опустил глаза на единственную бумагу, лежавшую на столе между его руками.

— Вы знаете провинцию Валлария, — сказал он. Это был не вопрос.

II. Устав

— Житница Империи, — сказал Валериан. — Три дня пути на юго-запад. Пшеница, виноград, сады. Река Лисса. Земельная гильдия держит там половину угодий, вторую половину — старые рыцарские дома, которые получили землю после Войны. В детстве я ел валларийские вишни на празднике Победы. Их раздавали бесплатно на площади Девяти Мостов, по горсти на ребёнка. Это был единственный день в году, когда я ел вишни.

— Их ели все, — сказал Олдрик. — Двести лет вишни к столу Регентов — и на праздник Победы, к народу — поставлял один дом. Веллоры. Поместье Вишнёвый Дол, в изгибе Лиссы. Основатель рода, Гаэль Веллор, был сотником в армии Луция Великодушного; он поднялся на стены Клыка в первой волне, получил девять ран и был жалован землёй в Валлории. Его имя — одно из девятнадцати, что ещё можно прочесть на Арке Героев. Нынешний глава рода — лорд Аврелий Веллор. Вдовец, пятидесяти шести лет. Член Земельной гильдии, почётный попечитель Ботанической академии. Человек уважаемый, умеренно богатый, политически безупречный. Никогда не участвовал ни в одной фракции, никогда не подписывал петиций, никогда не задолжал казне ни медяка.

Олдрик говорил ровно, без интонаций, как читают опись. Он не заглядывал в бумагу. Он помнил всё — Валериан знал это. Олдрик помнил имена, даты, суммы, статьи, лица, родословные, адреса и слабости тысяч людей, и никогда ничего не забывал. Курсанты говорили, что в голове у Магистра хранится второй Архив Коллегии — и что он полнее первого.

— Девять дней назад, — продолжал Олдрик, — в Коллегию пришло донесение от местного пристава. Пневмопочтой из Лиссы, через станционный приёмник. Две строки. Вот они.

Он не протянул бумагу. Он прочитал её по памяти, не опуская глаз, тем же ровным голосом:

— «Сад умер. Люди тоже. Прошу прислать кого-нибудь, кто поймёт».

В кабинете стало очень тихо. Семь полос света неподвижно лежали на мраморе. Где-то далеко, за окнами, пела птица в золочёной клетке.

Валериан молчал. Он машинально достал из кармана погасшую самокрутку и вертел её в пальцах, не поднося ко рту. В кабинете Олдрика курить было запрещено — это знали все, — и Валериан ни разу за одиннадцать лет не нарушил этого правила. Но сейчас ему очень хотелось.

— Что значит «умер»? — спросил он наконец.

— Именно это вы и выясните.

— Сад не может умереть за ночь, Магистр. Даже если его отравить — деревья сохнут неделями. А «люди тоже»…

— Я сказал: именно это вы и выясните. — Олдрик сложил руки на столе — медленно, аккуратно, пальцы к пальцам. — Поедете в Валларию со своим сержантом. Сегодня. Посмотрите. Поговорите с приставом. Составите мнение.

— Отчёт?

— Устный, — сказал Олдрик. — Мне. Лично. Ни слова на бумаге.

Валериан поднял глаза.

Двадцать лет службы. Тысячи дел — убийства, кражи, подлоги, контрабанда, запрещённая магия, бунты, пропажи. И у каждого дела был номер. Каждое дело начиналось с бумаги и заканчивалось бумагой: рапорт, протокол, опись, заключение, приговор. Коллегия Равновесия стояла на бумаге, как Актавиум — на камнях Клыка. Бумага была её кровью, её памятью, её законом. «То, что не записано, — говорил Устав, — не существует для Равновесия».

— Дело без номера? — спросил он медленно.

— Дело без бумаг, старший инспектор. — Голос Олдрика не изменился ни на йоту. — Вы понимаете, что происходит в провинциях?

— Урожаи падают.

— Урожаи падают третий год подряд. Это не секрет, об этом пишут даже листки Срединного Града, хотя мы и просили их писать меньше. В Валларии собрали на четверть меньше пшеницы, чем пять лет назад. В Вересковых Марках — на треть. Цены на хлеб в Брюхе выросли вдвое за два года. — Олдрик говорил всё так же ровно. — Если на этом фоне по городу пойдут слухи о «мёртвых садах», о людях, которые умирают за ночь, о какой-то неведомой заразе, — начнётся паника. Купцы придержат зерно. Хлеб подорожает втрое. И Брюхо выйдет на улицы. Как в четыреста восемьдесят втором. Вы помните четыреста восемьдесят второй, Валериан?

Валериан помнил.

Весна четыреста восемьдесят второго года. Хлебный бунт. Тогда цены поднялись в полтора раза — всего в полтора, — и через неделю Брюхо поднялось по всем трём лестницам. Толпы шли наверх с факелами, с баграми, с камнями из мостовой; горели склады на Медном рынке; горела контора Хлебной гильдии; стражу выбили из Срединного Града за одну ночь. На третий день Коллегия ввела в город гвардию Палаты, и гвардия стреляла эфирными залпами в толпу на площади Девяти Мостов, прямо под Аркой Героев, и камни мостовой потом три дня отмывали от крови. Погибло четыреста одиннадцать человек. Это по официальным данным. В Брюхе говорили — две тысячи.

Валериану тогда было двадцать. Он был младшим инспектором, и его поставили командовать оцеплением на Канатной улице — той самой, где жил его отец, — с приказом никого не пропускать вверх. Он никого не пропустил. И никого не застрелил. Он стоял шесть часов перед толпой своих соседей, бывших друзей, бывших одноклассников, и зачитывал им статьи Кодекса — одну за другой, без остановки, монотонно, хриплым от дыма голосом, — пока они не разошлись. Не от страха. От скуки, сказали потом. Или от жалости.

Это был первый раз, когда он читал Кодекс вслух в смертельной ситуации. С тех пор это вошло в привычку.

— Я его разгонял, Магистр, — сказал он.

Олдрик чуть наклонил голову, словно ждал продолжения. Продолжения не было. Тогда он сказал — тихо, почти задумчиво, и это было так непохоже на него, что Валериан насторожился:

— Я стоял тогда на балконе Палаты. Над площадью. Рядом с Регентом. Я видел, как вы стоите на Канатной. Мне доложили, что младший инспектор читает толпе Кодекс. Регент смеялся. Он сказал: «Этот мальчик либо святой, либо идиот». Я сказал ему: «Ни то, ни другое, ваша светлость. Он просто верит, что закон — для всех». Регент спросил: «А это не одно и то же?» — Олдрик помолчал. — Я до сих пор не знаю ответа, Валериан.

— Тогда вы понимаете. — Олдрик снова стал прежним и кивнул, будто это решало дело. — Вы поедете, посмотрите и вернётесь с выводом, что ничего необычного не произошло. Или — что произошло нечто естественное. Болезнь почвы. Отравленный колодец. Неудачный опыт с удобрениями — лорд Веллор, насколько мне известно, увлекался агрономией и выписывал из-за границы какие-то новомодные средства. Несчастный случай. Трагедия. Но — понятная.

— А если я увижу что-то непонятное?

Олдрик поднял на него свои светлые, спокойные, бесцветные глаза и посмотрел долгим, внимательным, почти отеческим взглядом. Так смотрят на любимого ученика, который задал глупый вопрос.

— Тогда, старший инспектор, вы вспомните первую статью Устава. Вы ведь её помните?

— «Равновесие есть высшее благо Империи».

— Продолжайте.

— «Всякое знание, способное нарушить его, есть знание опасное и подлежит хранению, а не распространению».

— Хранению, — мягко повторил Олдрик, и в его голосе впервые за весь разговор появилось что-то похожее на чувство — не тепло, нет, но некая убеждённость, твёрдая и холодная, как сталь. — Не уничтожению, Валериан. Не сокрытию. Хранению. Мы не враги истины, как думают глупцы в Брюхе и вольнодумцы в Академиях. Мы её хранители. Истина подобна огню: в очаге она греет, на улице — сжигает город. Наше дело — держать её в очаге. Ради всех. Ради вашей старухи с рыбой на Третьем шлюзе, которой нечего будет жарить, если город сгорит.

Валериан вздрогнул. Он не говорил Олдрику о старухе с рыбой.

Олдрик заметил это — конечно, заметил — и позволил себе ещё одну тень улыбки.

— Магистр всегда знает, — сказал он. — Так, кажется, говорит Кассиан.

* * *

Валериан помолчал. Потом сказал:

— Сегодня утром в Брюхе убили курьера «Зелёного Лотоса». Убийца говорит, что его нанял человек в сером плаще. Тихий, сухой голос. Забрал у курьера мешочек.

— Я знаю.

— И в Висячих садах, у фонтана с дельфинами, у вишни посерела ветка. Садовнику велели молчать. Люди в серых мантиях.

— Грибок, — сказал Олдрик. — С южными саженцами завезли. Садовники Шпилей слишком впечатлительны. А убитый курьер — разборки синдиката. Лотос возил нелегальные

кристаллы, кто-то из конкурентов решил их перехватить. Серые плащи носит пол-Брюха, Валериан. Не ищите связи там, где её нет. Это первый признак переутомления. Второй — когда начинаешь видеть фигуры в дыму.

Валериан ничего не ответил. Он смотрел на Олдрика, а Олдрик смотрел на него, и между ними лежали семь полос золотого света, как решётка.

— Поезд отходит в полдень, — сказал Олдрик. — С Южного вокзала. Билеты у Кассиана. Ступайте.

Валериан поднялся. Кресло скрипнуло, отпуская его с явным облегчением. Он пошёл к дверям — по чёрно-белым клеткам мраморного пола, как пешка по доске, — и у самых дверей, сам не зная зачем, обернулся и в последний раз посмотрел на фреску.

На безликую фигуру Малара над чёрными башнями.

И ему вдруг показалось — так бывает от усталости, от бессонной ночи, от горького дыма, от золотого света, бьющего в глаза, — что фигура стоит не над крепостью, а *перед* ней. Не на башне, а у её подножия, лицом к наступающим армиям. И руки её подняты не к небу в злом заклятье, а в стороны, широко, — как раскидывает руки человек, загораживая собой дверь.

Как будто заслоняет.

Он моргнул. Наваждение прошло. На фреске была крепость, на крепости — Тёмный Лорд, над Тёмным Лордом — солнце.

— Что-то ещё, старший инспектор? — спросил Олдрик из-за стола, не поднимая головы.

— Нет, Магистр.

— Тогда закройте за собой дверь.

Валериан закрыл.

III. Гаспар

Сержант Гаспар Кнелл ждал его внизу, в Зале Двенадцати Весов, у подножия статуи седьмого Магистра — Фабиана Строгого, того самого, что ввёл в Устав статью о «хранении знаний», — и ел пирожок с луком.

Это было святотатство, разумеется. В Башне Равновесия не ели, не пили, не смеялись и не сидели на ступенях. Двое стражей у дверей смотрели на Гаспара с выражением людей, которые видят, как кто-то справляет нужду в храме, но не решаются вмешаться, потому что этот кто-то очень большой.

Гаспар действительно был очень большим. Ростом на голову выше Валериана и вдвое шире в плечах, он напоминал не столько сержанта Коллегии, сколько трактирщика из Срединного Града — из тех, что сами выкидывают пьяных за дверь и сами же потом выносят им опохмелиться. Лицо у него было красное, круглое, добродушное, с пышными рыжеватыми усами, которые он отращивал двадцать лет и которыми гордился больше, чем всеми своими служебными наградами. Нос — картошкой, перебитый в двух местах. Руки — огромные, с толстыми пальцами, руки каменотёса, — он и был когда-то каменотёсом, пока в двадцать пять лет не поступил на службу в Коллегию, потому что там платили регулярно. Синий мундир сержанта сидел на нём так, словно его шили на человека поменьше и подогнали в последний момент, расставив все швы.

Он служил с Валерианом шесть лет. За эти шесть лет он научился трём вещам: молчать, когда начальство курит; не задавать вопросов, на которые не хочешь знать ответа; и всегда носить с собой еду, потому что начальство про еду забывало.

— Пирожок? — предложил он, протягивая промасленный свёрток.

Валериан взял пирожок. Он был ещё тёплый — Гаспар держал их за пазухой, — и пах луком, тестом и почему-то домом.

— Валлария, — сказал Валериан, откусывая. — Полдень. Три дня туда, сколько-то там, три обратно.

— Валлария? — Гаспар перестал жевать. — Это где вишни?

— Это где вишни.

— Три дня туда… — Гаспар погрустнел — медленно, всем лицом, как грустнеют большие добрые собаки. — Господин инспектор, у младшей в четверг именины. Восемь лет. Я ей обещал.

— Что обещал?

— Куклу. — Гаспар понизил голос, словно признавался в преступлении. — Фарфоровую. Со шпилевыми глазами, которые закрываются, когда её кладёшь. Она такую видела в витрине на Медном рынке, у Доминика-игрушечника, и с тех пор только о ней и говорит. Каждый вечер. «Папа, а у Белинды будут глаза, которые закрываются?» Она её уже назвала, понимаете. Белиндой. А у неё ещё и куклы-то нет.

— Купишь в Валлории. Говорят, там делают хороших кукол из соломы. С венками.

— Из соломы, — проворчал Гаспар. — Она хочет фарфоровую, господин инспектор. Белинда не может быть из соломы. Это несерьёзно. — Он вздохнул так, что статуя Фабиана Строгого, кажется, покачнулась. — Три марки, господин инспектор. Три марки за куклу! Знаете, сколько это хлеба? По нынешним-то ценам?

Валериан знал. Три марки — это месячное жалование младшего констебля. Это полтора месяца хлеба для семьи в шесть ртов. Это половина того, что Гаспар получал в месяц, и Валериан знал также, куда уходила вторая половина: на лекаря для тёщи, которая третий год кашляла по ночам серым кашлем, на долги за квартиру, на башмаки для четверых детей, которые вырастали из башмаков быстрее, чем Гаспар успевал их покупать.

Он сунул руку в карман — в тот, где обычно лежали деньги, когда они лежали, — нашёл там полторы марки серебром и горсть медяков. Всё, что осталось до конца недели. Молча вложил в огромную ладонь Гаспара.

— Да что вы, господин инспектор, — смутился Гаспар, и его красное лицо покраснело ещё больше. — Не надо. Я не к тому…

— Остальное добавишь. Купишь до отъезда — Медный рынок по дороге к вокзалу. Отправишь с посыльным.

— Господин инспектор…

— Белинда не может ждать до Валлории, — сказал Валериан. — Это несерьёзно. Пошли.

* * *

До полудня оставалось два часа. Они спустились Мраморным лифтом в Срединный Град — Гаспар всю дорогу молчал и смотрел в пол, сжимая в кулаке монеты, — и пошли через площадь Девяти Мостов к Медному рынку.

Медный рынок занимал целый квартал под стеклянной крышей, почерневшей от копоти, — огромный, гулкий, бесконечный лабиринт лавок, прилавков, палаток, ларьков, где торговали всем, что сделано из металла, и многим, что сделано из чего-нибудь ещё. Медники стучали молотками. Точильщики крутили колёса, рассыпая искры. Продавцы кристаллов зазывали покупателей, держа над головой светящиеся камни — голубые, белые, розовые, — и Валериан машинально отметил, что камни светят тусклее, чем год назад. Или ему показалось.

Лавка Доминика-игрушечника пряталась в дальнем углу рынка, между мастерской гравёра и лавкой подержанных шпаг. Это была узкая, тёмная, тёплая щель, сверху донизу заставленная игрушками: оловянные солдатики целыми полками — люди в золочёных латах и эльфы в серебряных плащах, идущие на приступ картонного Клыка; заводные лошадки; кораблики; волчки; деревянные гномы с настоящими крошечными молоточками; и — на самом видном месте, в стеклянной витрине, на подушечке из красного бархата — куклы. Фарфоровые. С куд-

рями из настоящих волос, в кружевных платьях, с румяными щёчками и глазами из голубого стекла, которые закрывались, если куклу положить.

Гаспар выбирал долго. Он брал каждую куклу в свои огромные руки так осторожно, словно она была живой и могла заплакать, клал её на спину, смотрел, как опускаются ресницы, снова поднимал, смотрел, как они открываются, и что-то бормотал себе под нос. Доминик-игрушечник — сухонький старичок с пушистыми бакенбардами — смотрел на него с умилением и не торопил.

Наконец Гаспар выбрал. Кукла была в голубом платье, с белыми кудрями и с родинкой над губой.

— Вот эта, — сказал он. — Это Белинда. Это точно она.

Он отсчитал три марки — полторы своих, полторы Валериановых, — и Доминик завернул куклу в розовую бумагу и перевязал лентой.

— Именины? — спросил игрушечник.

— Восемь лет, — гордо сказал Гаспар.

— Поздравьте от меня, — сказал Доминик. — Восемь лет — хороший возраст. В восемь лет ещё веришь, что у кукол закрываются глаза, потому что они спят.

Гаспар вышел из лавки, прижимая свёрток к груди, и долго стоял у входа, не говоря ни слова. Потом вдруг сказал, не глядя на Валериана:

— Знаете, господин инспектор, мне иногда кажется, что я не на той стороне.

Валериан посмотрел на него.

— В каком смысле?

— Не знаю. — Гаспар пожал плечами. — Не в смысле — преступником стать. Нет. А просто… Мы же служим Равновесию, так? Порядку. Чтобы всё было как надо. А как надо — это когда моя тёща кашляет серым, потому что мы живём у самой Пелены и дышим этой дрянью, а в Шпилях у людей розы круглый год? Это равновесие? — Он помолчал. — Простите. Глупости говорю. Это от недосыпа.

— Это не глупости, Гаспар.

— Глупости, — твёрдо сказал сержант. — Мне нельзя такое думать. У меня четверо детей. Тот, у кого четверо детей, должен думать только об одном: чтобы у них были башмаки. Остальное — для тех, у кого детей нет. — Он вдруг смутился, поняв, что сказал. — Простите, господин инспектор. Я не про вас.

— Про меня, — сказал Валериан. — И ты прав.

* * *

Гаспар жил в Кирпичном переулке, на самой границе Срединного Града и Брюха — там, где Пелена опускалась ниже всего и где дома стояли, наполовину утонув в смоге, как сваи в болоте. Это был узкий, тёмный, сырой переулок, где кирпич давно стал чёрным, а бельё на верёвках никогда не высыхало до конца.

Квартира Кнеллов занимала две комнаты на третьем этаже облезлого дома с покосившимся балконом. Когда Гаспар открыл дверь, на него сразу налетели дети — трое, нет, четверо, — повисли на руках, на шее, на ногах, закричали все разом. Старший, лет четырнадцати, высокий и угловатый, с отцовскими руками; две девочки погодки, лет одиннадцати и десяти, в одинаковых передниках; и младшая — маленькая, светловолосая, с серьёзными глазами, — которая не кричала, а стояла в стороне и смотрела на свёрток в розовой бумаге.

— Это не тебе, — сказал ей Гаспар строго. — Это в четверг.

— Я знаю, — сказала девочка. — Я просто смотрю.

Из второй комнаты вышла жена — Марта Кнелл, полная, румяная, с мокрыми руками и усталым лицом, — и, увидев Валериана, торопливо вытерла руки о передник и поклонилась.

— Господин инспектор. Проходите, проходите. Чаю?

— Спасибо, сударыня. Мы на минуту.

Из-за занавески в углу донёсся кашель — сухой, долгий, надрывный, с тем особым скрежещущим присвистом, который в Брюхе знал каждый. Серый кашель. Марта на мгновение замерла, прислушиваясь, — и Валериан увидел, как у неё на лице промелькнуло выражение, которое он знал слишком хорошо: страх, усталость и стыд, всё вместе.

— Мама, — сказала она тихо. — Третий год уже. Лекарь говорит — нужен воздух. Горный. Или хотя бы верхний, над Пеленой. А где ж его взять, этот воздух.

Гаспар собирал вещи молча, быстро, по-солдатски: смена белья, бритва, фляга, запасная обойма для пистолета. Свёрток с куклой он отдал жене, и та спрятала его на верхнюю полку, за горшками.

Уже в дверях младшая дочь вдруг подбежала к Валериану, дёрнула его за полу плаща и спросила:

— Господин инспектор, а правда, что у вас есть живая железная мышка?

Клик, высунувшись из-за воротника, посмотрела на девочку голубыми огоньками глаз. Девочка ахнула.

— Её зовут Клик, — сказал Валериан.

— Она кусается?

— Только меня.

Девочка серьёзно подумала и сказала:

— Значит, она вас любит.

Клик выстучала по пряжке воротника что-то короткое. Валериан не стал переводить.

IV. «Ахеронская стрела»

Эфирный поезд «Ахеронская стрела» уходил с Южного вокзала ровно в полдень — как уходил последние восемьдесят лет, без единого опоздания, о чём с гордостью сообщала медная табличка у входа на перрон.

Южный вокзал был одним из чудес Срединного Града — огромный зал под арочной крышей из стекла и чугуна, похожий на перевёрнутый скелет кита. Под его сводами гуляло эхо: гудки, свистки, крики носильщиков, стук колёс багажных тележек, голоса разносчиков газет — «Листок Срединного! Хлеб снова дорожает! Посольство эльфов у Регента!» — и над всем этим, ровно, низко, неумолчно — гул эфирных кристаллов, похожий на гудение огромного улья.

«Стрела» стояла у четвёртой платформы. Длинный, обтекаемый состав из тёмно-зелёных вагонов с медной отделкой, с круглыми окнами, как у корабля, и с бронзовой фигурой летящей цапли на носу головного вагона. Под каждым вагоном, в бронзовых гнёздах, горели эфирные кристаллы — по четыре на вагон, голубые, ровные, — и от них по перрону расходилось холодное сияние. Колёс у «Стрелы» не было. Она парила над рельсами на высоте ладони, едва заметно покачиваясь, как лодка у причала.

Валериан и Гаспар ехали третьим классом — Коллегия не баловала инспекторов. Третий класс был в хвосте поезда: деревянные скамьи, железные полки для багажа, запах табака, лука и мокрой шерсти, крестьяне с корзинами, солдаты в отпуску, бродячий лудильщик со своим скарбом, монахиня Ордена Трёх Светил с чётками.

Но, проходя вдоль состава к своему вагону, Валериан замедлил шаг у первого класса.

У дверей головного вагона — бархатные занавески, позолота, кресла с высокими спинками — стояли люди в серых мантиях. Четверо. Длинные, до пят, мантии из тонкой серой шерсти, капюшоны опущены на плечи. Лица — молодые, бледные, гладко выбритые, неподвижные. Они ничего не делали — просто стояли у вагона, сложив руки, как стоят монахи во время службы, — и все пассажиры, проходившие мимо, невольно ускоряли шаг и отворачивались.

На плече у каждого была фиолетовая печать Коллегии.

Валериан не знал этих людей. Двадцать лет в Коллегии — он знал всех инспекторов, всех секретарей, всех стражей, всех судебных алхимиков, всех писарей и даже всех уборщиков Башни Равновесия. Этих он не знал. И печать на их плечах была не такой, как у всех: не весы с двумя чашами, а что-то другое, что он не мог разглядеть издалека.

Один из них — тот, что стоял ближе всех к двери, — повернул голову и посмотрел на Валериана. Глаза у него были светлые, сухие, без блеска — как стёкла пустых окон.

Валериан выдержал этот взгляд. Он умел выдерживать взгляды — убийц, шантажистов, безумцев, вдов, Магистров. Обычно люди отводили глаза первыми, потому что в его глазах было то, что в Брюхе называли «фонарщицкой тоской»: усталость, которая ничего не боится, потому что ей уже всё равно. Но человек в сером не отвёл глаз. Он смотрел на Валериана так, как смотрят на предмет, — не враждебно, не настороженно, а с ровным, скучающим вниманием счетовода, сверяющего опись. И Валериан вдруг с отвратительной ясностью понял, что его уже посчитали. Внесли в какую-то графу. Поставили напротив его имени какой-то знак.

Клик под воротником сжалась в комок и не шевелилась до самого вагона.

Валериан отвернулся и пошёл к своему вагону.

— Кто это? — тихо спросил Гаспар, догоняя его.

— Не знаю.

— Наши?

— Не знаю, — повторил Валериан. — Но они едут в нашем поезде.

* * *

Гудок — долгий, низкий, вибрирующий — прокатился под стеклянными сводами. «Стрела» дрогнула, качнулась и пошла — бесшумно, плавно, без единого толчка, словно не поезд тронулся с места, а вокзал медленно поплыл назад.

Валериан сел у окна. Гаспар напротив развернул «Листок Срединного Града», прочитал заголовок, вздохнул, сложил газету на коленях — и через три минуты уснул, уронив голову на грудь и тихо, басовито захрапев. Он умел засыпать где угодно и когда угодно — на посту, в засаде, в трясущейся телеге, — и Валериан ему всегда завидовал.

Город остался позади. Последние фабрики Брюха — длинные кирпичные корпуса с трубами, похожими на воздетые пальцы. Последние трущобы, последние свалки, последние огороды на пустырях, где старухи в чёрных платках выращивали капусту на отравленной земле. Потом — городская стена, старая, полуразрушенная, с проломами, в которых паслись козы. А потом — открытое пространство, широкое, зелёное, мокрое.

Дол Ахерона.

Здесь, в широкой речной долине, тысячу лет назад родилась Империя — когда ещё не было ни Империи, ни Коллегии, ни Шпилей, а были только люди, пришедшие к реке с юга, с топорами, сетями и надеждой. Об этом рассказывали старые сказания, которые Валериан когда-то читал в курсантской библиотеке, — сказания Эры Истока, тёмные и путаные, полные имён, которые ничего не значили, и событий, которые никто не мог проверить. Люди пришли к Ахерону, говорили сказания, потому что здесь была добрая земля и тихая вода, и здесь они поставили первые деревни, и первые курганы своих королей, и первые сторожевые башни против северных кочевников, которых тогда ещё не называли орками.

Всё это было видно из окна поезда, если знать, куда смотреть.

Старые деревни с каменными мельницами на ручьях — серые, приземистые, с соломенными крышами, такие древние, что казались частью пейзажа, как валуны. Курганы — длинные зелёные холмы, похожие на спящих зверей, с одинокими дубами на вершинах; на некоторых стояли камни с рунами, которые никто уже не умел читать. Разрушенные сторожевые башни — круглые, без крыш, увитые плющом, глядящие на север пустыми глазницами бойниц, — к ним никто не ходил, и местные говорили, что там живут совы и призраки. Каменные мосты

через ручьи, горбатые, без перил, построенные неизвестно кем и неизвестно когда. Межевые столбы с полустёртыми гербами исчезнувших родов.

Дождь здесь шёл тише — не сплошной стеной, как в Брюхе, а мелкой, тёплой моросью, сквозь которую иногда проглядывало бледное солнце. И здесь даже пахло иначе: сквозь щели в оконной раме тянуло землёй, прелой листвой, свежей травой, дымом из печных труб, навозом, яблоневым цветом. Валериан приоткрыл окно и вдохнул полной грудью — и закашлялся, потому что его лёгкие, привыкшие к Брюху, не знали, что делать с чистым воздухом.

Он смотрел на поля и сначала не мог понять, что его тревожит.

Поля были красивы — по-весеннему, юно, ярко. Молодая пшеница поднималась ровными зелёными рядами, как щетина. Озимые рожь и ячмень уже колосились. На лугах паслись коровы, рыжие и пёстрые. Вдоль межей цвёл шиповник. Всё было так, как и должно быть весной в Доле Ахерона. Почти всё.

Потом он понял.

Поля были не везде одного цвета.

Посреди молодой весенней зелени, то тут, то там, лежали пятна. Неровные, бесформенные, словно кто-то пролил на землю пепел из огромного котла. Серые. Сухие. Неподвижные. Над ними не качалась трава — хотя вокруг ветер гнал по пшенице зелёные волны. В них не копались птицы — хотя рядом, на зелёном, целые стаи грачей бродили по бороздам. Иные пятна были размером с крестьянский двор, иные — с целое поле. Одно, совсем близко к дороге, захватило половину яблоневого сада: с одной стороны деревья стояли в белом цвету, а с другой — серые, словно отлитые из золы, с серыми цветами на серых ветках.

Дождь падал на эти пятна, и Валериан готов был поклясться — хотя поезд шёл быстро и он не мог разглядеть точно, — что капли исчезали, касаясь серого, не оставляя на нём ни тёмного пятнышка, ни блеска.

Он смотрел, и смотрел, и считал. Одно пятно. Второе. Третье, у самой реки. Четвёртое — на склоне холма, у кургана, и серым был сам курган, и серым был одинокий дуб на его вершине. Пятое. Шестое. Седьмое.

Он перестал считать на двадцать третьем.

Самокрутка у него в пальцах — он не помнил, когда успел её зажечь, — тлела, и дым от неё, уносимый сквозняком из приоткрытого окна, вдруг задержался на стекле, распластался по нему и свернулся в вопросительный знак — маленький, чёткий, сизый на фоне серого пятна за окном.

Валериан не стал его отгонять.

* * *

Около трёх часов пополудни в вагон вошёл кондуктор — пожилой, грузный, с усами, похожими на две метлы, — и пошёл между скамьями, проверяя билеты. У скамьи Валериана он задержался, посмотрел на жетон, потом на спящего Гаспара, потом в окно, на очередное серое пятно, проплывавшее мимо.

— Видите, господин инспектор? — сказал он тихо, наклонившись. — Видите?

— Вижу.

— Год назад их не было. Ни одного. Я по этой линии тридцать лет езжу, я каждое поле знаю, каждое дерево. Год назад — ни одного. Полгода назад — три. А теперь… — Кондуктор покачал головой. — Говорят, это зараза. С юга. Говорят, скотина, которая туда забредает, — не возвращается. Говорят, если ступить на это серое ногой, то нога… — Он не договорил. — Вы ведь из Коллегии, господин инспектор. Вы не знаете, что это?

— Не знаю.

— А в Коллегии знают?

Валериан посмотрел на него — на старое, усталое, испуганное лицо, — и ответил:

— Наверное, знают.

Кондуктор кивнул, как будто это его успокоило, выпрямился и пошёл дальше. Валериан смотрел ему вслед и думал о четырёх людях в серых мантиях, сидевших в бархатных креслах первого класса.

Наверное, знают.

V. Кто был стеной

На станции Вересковый Брод «Стрела» стояла пять минут.

Это была маленькая станция на границе Дола Ахерона и Вересковых Марок — одноэтажный домик из серого камня под черепичной крышей, деревянный навес над перроном, водокачка, которая давно не качала воду (эфирным поездам вода была не нужна), и колокол на столбе, в который никто не звонил. За станцией начинались холмы — пологие, бурые, поросшие вереском, ещё не зацветшим, и дроком, уже цветущим ярко-жёлтыми огоньками. Над холмами низко висели тучи. Где-то далеко лаяла собака.

Гаспар всё ещё спал. Валериан встал, потянулся — спина затекла от деревянной скамьи, — и вышел на перрон размять ноги.

Под навесом, на перевёрнутом ящике, сидела старая крестьянка в чёрном платке и продавала мочёные яблоки из деревянной кадки. Яблоки были маленькие, жёлтые, сморщенные, плавали в мутном рассоле с листьями смородины и пахли так, что у Валериана сразу заурчало в животе: пирожок Гаспара был давно, а с утра он ел только уклеек. Он подошёл, купил шесть штук — для Гаспара, когда проснётся, и для себя.

Старуха отсчитывала ему сдачу медленно, по одной монетке, шевеля губами, — и, не поднимая глаз, тихо напевала что-то себе под нос. Старую песенку, детскую, на мотив колыбельной — простой, качающийся, из трёх нот.

— Что поёте, матушка? — спросил Валериан.

Она подняла на него глаза — выцветшие, светло-голубые, как небо над Брюхом в редкий ясный день, — и посмотрела долго, внимательно, словно решала, стоит ли ему отвечать.

— То, что бабка пела, господин, — сказала она наконец. — А ей — её бабка. А той — её. Так и поём. Детям на ночь.

— Спойте мне.

Старуха помолчала. Потом пропела — негромко, чисто, неожиданно молодым голосом, совсем не похожим на её сморщенное лицо:

Серая пыль — к серой зиме,
серая пыль — к пустой суме,
серая пыль придёт за тобой,
если забудешь, кто был стеной.

Валериан стоял неподвижно, с кульком яблок в руках.

— Кто был стеной? — переспросил он.

Старуха пожала плечами.

— А кто ж его знает, господин. Песня старая. Слова в ней — что зубы у меня: какие остались, те и жуют. Бабка говорила, раньше там было больше. Куплетов пять или шесть. И все про стену. А потом забыли. Одно это и осталось.

— А серая пыль? Вы знаете, что это?

Она посмотрела на него — и вдруг, впервые, отвела взгляд, посмотрела куда-то за станцию, на холмы.

— Знаю, господин, — сказала она тихо. — Теперь знаю. Раньше думала — сказка. Для детей. Чтобы слушались. А теперь вон — у Мельникова ручья, за вторым холмом. С зимы. Овцы туда ходили — и нету овец. Пастушонок за ними пошёл — и нету пастушонка. — Она

замолчала. — Ваши приезжали. В серых плащах. Ходили, смотрели. Сказали — болезнь почвы. Сказали — не ходить туда и не болтать. А я и не болтаю. Я пою.

Гудок «Стрелы» прорезал воздух — долгий, тоскливый.

— Ступайте, господин, — сказала старуха. — Поезд ждать не будет. Он никого не ждёт.

Валериан вернулся в вагон, положил яблоки на столик перед спящим Гаспаром и сел у окна. Поезд тронулся. Станция поплыла назад — серый домик, навес, водокачка, маленькая чёрная фигура на перевёрнутом ящике.

Он долго смотрел в окно, повторяя про себя последнюю строку. Слова перекатывались в голове, как камешки в ручье.

Если забудешь, кто был стеной.

Стеной. Не «кто построил стену». Не «кто стоял на стене». Кто *был* стеной. Как будто стена — это не камень, а кто-то живой. Кто-то, кого можно забыть.

Дым его самокрутки свернулся на стекле в странную фигуру — длинную горизонтальную линию, а над ней — изогнутую дугу, как купол. Валериан смотрел на неё, пока она не растаяла.

* * *

К вечеру «Стрела» вошла в Валларию.

Это было видно сразу, даже не глядя на станционные вывески: земля изменилась. Холмы стали мягче, круглее, ниже. Вереск и дрок сменились виноградниками — ровными рядами низких, ещё безлистных лоз на подпорках, взбегающих по южным склонам. Между виноградниками стояли белые фермы под красной черепицей, с кипарисами у ворот. Вдоль дороги потянулись сады — яблони, груши, сливы, абрикосы, — и все они цвели: белым, розовым, бледно-лиловым, и цвет их стоял над землёй лёгким облаком, сквозь которое пробивалось закатное солнце. Здесь было теплее. Дождь кончился. Небо на западе очистилось и горело золотом и медью.

Валериан никогда раньше не был в Валларии. Он смотрел на неё и понимал, почему её называли житницей Империи — и почему поэты Срединного Града, ни разу здесь не бывавшие, писали о ней стихи. Это была земля, которая хотела жить. Земля, которая рожала — щедро, жадно, без устали, — пшеницу, вино, хлеб, плоды, цветы. Даже сейчас, весной, когда ещё ничего не созрело, от неё исходило ощущение изобилия, тёплой, сытой, глубокой силы.

И посреди этого изобилия лежали серые пятна.

Здесь их было больше, чем в Доле Ахерона. Гораздо больше. Серые виноградники — целые склоны серых лоз, неподвижных на серых подпорках. Серые сады — облака серого цвета на серых ветках. Серые поля. Серая ферма — белые стены стали пепельными, красная черепица стала пепельной, кипарисы у ворот стали пепельными, и над трубой не поднимался дым. Валериан прижался лбом к стеклу и долго смотрел на эту ферму, пока она не скрылась за поворотом. Во дворе, у колодца, стояла телега. Серая. С серой лошадью в оглоблях.

Гаспар проснулся, когда за окном уже темнело. Он потянулся, зевнул, увидел яблоки, обрадовался, съел три подряд — а потом посмотрел в окно и перестал жевать.

— Господин инспектор, — сказал он медленно. — Это что?

— Не знаю, Гаспар.

— Это… это всё там? До самой Лиссы?

— Похоже на то.

Гаспар долго молчал, глядя на проплывающий мимо серый сад. Потом сложил пальцы знаком Трёх Светил и коснулся ими лба — чего Валериан никогда раньше за ним не замечал. Гаспар не был набожным. Гаспар был каменотёсом, а каменотёсы верят в камень, а не в Светила.

— Моя бабка была из Вересковых Марок, — сказал он вдруг. — Она пела нам песню. Про серую пыль.

Валериан повернулся к нему.

— «Если забудешь, кто был стеной»?

Гаспар уставился на него.

— Откуда вы знаете?

— Слышал сегодня. На станции.

Гаспар помолчал. Потом сказал — тихо, словно боялся, что услышат:

— Бабка говорила, это старая песня. Ещё с тех времён. С Войны. Говорила, её пели в деревнях, когда солдаты вернулись с севера, — а потом запретили. Коллегия запретила. За неё вешали. Поэтому слова и забыли — пели только припев, и то шёпотом, детям. — Он покачал головой. — Я думал, бабка выдумывала. Она много чего выдумывала.

— Почему запретили? — спросил Валериан.

— Не знаю. Она не говорила. — Гаспар отвёл глаза. — Говорила только: «Не всё, что победили, было злом, Гасси. И не всё, что победило, было добром». Я тогда не понял. Мне было семь.

Валериан ничего не сказал.

За окном совсем стемнело. В темноте серые пятна были не видны — только тёмные силуэты холмов, редкие огни ферм, и над всем этим — небо, огромное, чистое, усыпанное звёздами. Такого неба Валериан не видел никогда в жизни. В Брюхе звёзд не бывало — их заслоняли смог и дождь. В Шпилях не бывало ночи — её отменило искусственное солнце. Он смотрел на звёзды и думал, что тридцать восемь лет прожил, не зная, как их много.

Гаспар тоже смотрел на звёзды. Потом сказал, не отрываясь от окна:

— Младшая спрашивала меня как-то, сколько их. Звёзд. Я сказал — сто. Больше, говорю, не бывает. Я же их не видел никогда, господин инспектор. Откуда мне знать.

— А сколько на самом деле?

— Не знаю. — Сержант покачал головой. — Тысячи. Тысячи тысяч. Надо было ей сказать — бесконечно. Детям надо говорить, что чего-то бывает бесконечно. Хоть чего-нибудь.

Он замолчал, и Валериан увидел, как в тёмном стекле отражается его большое красное лицо — и как по нему медленно ползёт слеза, которую Гаспар, кажется, даже не замечал.

Около полуночи «Стрела» остановилась на станции Лисса — конечной.

Это был маленький провинциальный городок на берегу реки — тихий, спящий, с одной улицей, одной площадью, одной гостиницей под вывеской «Вишнёвая ветвь» и одной часовней с колокольней. На перроне горел единственный фонарь. Пахло рекой, цветущими садами и свежим хлебом из пекарни, где пекарь уже затопил печь к утру.

Валериан и Гаспар вышли из вагона с саквояжами. Перрон был пуст.

Нет, не пуст. У головного вагона стоял закрытый экипаж — чёрный, без гербов, с задёрнутыми шторками, запряжённый двумя вороными лошадьми. Четверо в серых мантиях молча, не оглядываясь, садились в него. Последний — тот, с пустыми, как окна, глазами, — на мгновение задержался на подножке и посмотрел на Валериана через весь перрон.

Потом дверца захлопнулась, кучер щёлкнул кнутом, и экипаж покатил прочь, в темноту, по дороге, уходящей на юго-запад — туда, где за холмами, в изгибе Лиссы, лежал Вишнёвый Дол.

Валериан смотрел ему вслед, пока не затих стук колёс.

— Они едут туда же, куда и мы, — сказал Гаспар.

— Они едут туда первыми, — сказал Валериан. — Пошли. Найдём ночлег. Утром наймём двуколку.

— А почему не сейчас?

Валериан достал самокрутку, чиркнул спичкой, закурил. Дым поднялся над пустым перроном, в свете единственного фонаря, и свернулся в маленький, кривой, неуверенный вопросительный знак.

— Потому что я не хочу видеть это в темноте, — сказал он.

Глава третья

ИССОХШИЙ САД

Вишнёвый Дол стоит в изгибе реки Лиссы, на южном склоне, где солнце бывает щедрее, чем где-либо в Валлории. Говорят, первое дерево здесь посадил сам основатель рода, вернувшийся с Войны Ошибки, — в знак того, что после крови пришло время садов.

— «Земельная книга Валлории», 312 г. П.К.

I. «Вишнёвая ветвь»

Гостиница «Вишнёвая ветвь» стояла на площади Лиссы напротив часовни, и была она такой же, как всё в этом городке, — маленькой, старой, тёплой и чуть-чуть сонной. Два этажа белёного камня под красной черепицей, деревянная галерея вдоль второго этажа, увитая прошлогодним хмелем, и над дверью — вывеска: резная вишнёвая ветка с тремя алыми ягодами, выкрашенными так ярко, что они светились даже в темноте при свете единственного фонаря на площади.

Хозяйку звали Берта. Это была широкая, крепкая женщина лет шестидесяти, с руками, красными от горячей воды, с седыми волосами под накрахмаленным чепцом и с голосом, которым можно было останавливать понёсших лошадей. Она открыла им дверь в полночь в ночной рубахе и шерстяной шали, со свечой в руке, посмотрела на мокрые плащи, на саквояжи, на жетон Коллегии — и, не сказав ни слова, отступила в сторону, пропуская их внутрь.

— Комната одна, — сказала она уже на лестнице. — Две кровати. Простыни свежие. Ужин холодный — пирог с ревенём и сыр. Пиво своё. Деньги утром.

— Спасибо, сударыня.

— Не за что. — Она остановилась на верхней ступеньке и обернулась. Свеча освещала её лицо снизу, и от этого оно казалось высеченным из камня. — Вы из-за Веллоров?

— Да.

— Я так и думала. — Берта помолчала. — Вчера ваши тоже приезжали. Не сюда — в контору к приставу. Ночью. Не спали. Свет у него горел до утра, а утром они уехали, и мальчишку Оды-пастушки с собой увезли. Оду трясёт третий день. Сидит у часовни, не ест, не пьёт.

— Ваши — это кто?

— В серых плащах. — Берта посмотрела на Валериана долгим взглядом. — Вы не с ними?

— Нет.

— Это хорошо, — сказала Берта. — Потому что если бы вы были с ними, я бы вам пирога не дала.

Она поставила свечу на подоконник у двери комнаты и ушла, шаркая войлочными туфлями.

Валериан долго смотрел ей вслед.

Значит, серые были здесь не в первый раз. Значит, люди в «Стреле» ехали не первыми — а вторыми. Или третьими. Значит, Коллегия знала о Вишнёвом Доле задолго до того, как Олдрик вызвал его на сорок второй этаж, — и прислала своих людей раньше, чем его. А его отправила потом — зачем? Чтобы он посмотрел и сказал, что ничего не случилось? Чтобы его подпись стояла под словом «естественное»?

Дело без бумаг, вспомнил он. *Устный отчёт. Мне. Лично.*

Нет. Не подпись. Если бы Олдрику нужна была подпись, он потребовал бы бумаг. Ему нужно было что-то другое.

Может быть, свидетеля. Человека, который потом, если понадобится, скажет перед Палатой: «Я сам там был, я сам всё видел, ничего необычного». Человека с репутацией упрямца,

которому поверят именно потому, что он упрямец. Или, может быть, Олдрику нужно было, чтобы кто-то посмотрел на это свежими глазами — глазами, которых ещё не научили не видеть. А может быть — и эта мысль была самой холодной — Олдрику нужно было, чтобы он туда поехал и не вернулся.

Валериан так и не понял — что. Он лёг, не раздеваясь, поверх одеяла, и долго лежал в темноте, слушая, как храпит Гаспар, как тикают часы на часовне, как шуршит в соломенной крыше какая-то ночная птица, — и как непривычно, оглушительно тихо в этом городе, где не шёл дождь.

* * *

Утром Берта накормила их яичницей с салом, свежим хлебом, ещё тёплым, из пекарни напротив, и мёдом в сотах, — и, пока они ели, сидела напротив, сложив красные руки на столе, и рассказывала.

Она рассказывала о Веллорах так, как в маленьких городах рассказывают о тех, кто живёт в большом доме на холме: с гордостью, с завистью, с нежностью и с тем особым знанием, которое бывает только у соседей, — знанием о том, кто когда родился, кто на ком женился, кто от чего умер и кто кому сколько должен.

— Двести лет, — говорила она. — Двести лет они там, на Лиссе. Нет — дольше. Пятьсот. Это вишни — двести лет к столу Регентов, а сами Веллоры — пятьсот. С самой Победы. Старый Гаэль, первый, вернулся с Войны весь израненный, — говорят, девять ран, и одна прямо в сердце, только сердце у него было крепкое, — и Регент Луций дал ему землю. Голый склон над рекой. Камни да чертополох. Никто тут жить не хотел — говорили, место дурное, тут когда-то, ещё до Войны, стояла чья-то башня, и её снесли. А Гаэль взял и посадил вишню.

— Одну вишню?

— Одну. — Берта кивнула. — Это все в Валлории знают. Каждый ребёнок. Гаэль привёз с Войны косточку. Одну-единственную вишнёвую косточку. Говорят, он нашёл её там, на севере, в той проклятой земле, где не растёт ничего, — у самых стен Клыка, в пепле. Будто там, у Тёмного Лорда, был сад. Будто в самой середине его чёрной крепости росла одна вишня, и когда крепость горела, она тоже сгорела, а косточка осталась. Гаэль подобрал её и сказал: «Это единственное живое, что я видел в этой земле. Я посажу его там, где кончится война».

Валериан перестал жевать.

— У Тёмного Лорда был сад?

— Так говорят. — Берта пожала плечами. — Сказки, наверное. Какой сад у Тёмного Лорда? У него ж только огонь да кости. Но вишня-то выросла. Старая Вишня. Первая. Она до сих пор стоит — стояла — у самого дома, над прудом. Пятьсот лет! Таких вишен не бывает, господин инспектор, вишни столько не живут, — а эта жила. Огромная стала, как дуб. Каждую весну цвела первой во всей Валлории, раньше всех. И от неё — все остальные. Все сады Веллоров — от её косточек. Все вишни Валлории, если по правде, — от её косточек. Все вишни, что в Шпилях, в кадках, — тоже от неё. Это знаете как у нас говорят? «Валлария стоит на одной косточке».

Она помолчала, глядя в окно, на площадь, где у часовни, на каменной ступеньке, сидела неподвижная женская фигура в тёмном платке.

— А на Цветение, — продолжала Берта тише, — Веллоры открывали ворота. Всем. Каждый год, весной, когда Старая Вишня зацветала, — три дня праздника. Со всей Валлории съезжались. Столы прямо под деревьями, вино, пироги, музыка, танцы. Детям — вишнёвые венки. Девушкам — ленты. Старый лорд Аврелий выходил к гостям в белом сюртуке, поднимал бокал под Старой Вишней и говорил всегда одно и то же: «За тех, кто посадил, и за тех, кто сохранил». Я сорок лет на это Цветение ездила. С тех пор как девчонкой была. Там я своего Томаса встретила, упокой Свет его душу. Под вишнями.

— В этом году Цветения не было, — сказал Валериан.

Это был не вопрос. Берта посмотрела на него.

— Не было, — сказала она. — Лорд разослал письма. Ещё в начале весны. Что, мол, праздника в этом году не будет: болеют деревья. А вишни-то в Валлярии, господин инспектор, болеют уже третий год. Нижние террасы у Веллоров сохли, это все знали. Лорд Аврелий с ума сходил — выписывал каких-то лекарей для деревьев, учёных из столицы, порошки, удобрения. А зимой, говорят, привёз машину. Большую. На трёх подводах везли, через наш мост, под рогожей. И с ней человека. Мастером его звали. Мастер Корвин. Тихий такой, вежливый, с бородкой клинышком. Он у меня обедал раз, когда за почтой приезжал. Всё молчал, а потом вдруг спросил: «Хозяйка, а вы верите, что землю можно вылечить?» Я говорю: «Землю лечат навозом да трудом». Он засмеялся. Грустно так. И сказал: «Если бы».

Берта поднялась, собрала со стола тарелки.

— А девять дней назад, — сказала она, стоя к ним спиной, — Один мальчишка, Пип, побежал к реке за коровами и прибежал обратно белый, как мука. Кричал, что сад «посерел». Что всё посерело. Что в доме никто не отвечает. Пристав пошёл. Вернулся — и заперся у себя, и три дня не выходил, только письмо отправил в столицу. А потом приехали ваши. В сером. И увезли Пипа. — Она обернулась. Глаза у неё были сухие и злые. — Ему одиннадцать лет, господин инспектор. Одиннадцать. Он видел то, чего не должен был видеть. Это что, преступление?

— Нет, — сказал Валериан. — Это не преступление.

— Тогда верните его матери.

Валериан не ответил. Он не знал, сможет ли.

* * *

Двуколку они наняли у кузнеца — старую, скрипучую, с облезлым синим кузовом и кобылой по имени Ромашка, гнедой, смирной, с белой звездой на лбу. Править вызвался кузнецов сын — молчаливый парень лет восемнадцати по имени Лука, с испуганными глазами и обгрызенными ногтями. Он согласился только после того, как Валериан положил ему в ладонь целую марку — последнюю из тех, что оставались у Гаспара, — и только «до креста».

— До какого креста? — спросил Гаспар.

— До старого. На развилке. Дальше Ромашка не пойдёт, — сказал Лука. — Вчера пристав пытался — встала и ни в какую. И серых этих лошади тоже не пошли. Звери чуют.

Перед отъездом Валериан перешёл площадь и подошёл к часовне.

Женщина на ступеньке сидела так же, как утром, — неподвижно, сгорбившись, глядя в одну точку, на мостовую у своих ног. Ей было лет тридцать, но выглядела она на пятьдесят. Руки её лежали на коленях, и в руках она держала маленькую деревянную свистульку — птичку, грубо вырезанную ножом, с дырочкой в хвосте.

— Сударыня Ода, — сказал Валериан.

Она не подняла головы.

— Я из Коллегии. Но не из тех. Я… я постараюсь узнать, куда увезли вашего сына.

Женщина медленно подняла на него глаза. В них не было ни надежды, ни злости, ни страха — ничего, кроме бесконечной усталости.

— Он вырезал её сам, — сказала она, глядя на свистульку. — На прошлой неделе. Для меня. Чтобы я свистела, когда звать его домой. А я теперь свищу, свищу… — Она поднесла свистульку к губам и дунула. Свистулька издала тонкий, жалобный, птичий звук. — Он не приходит.

Валериан стоял перед ней и не знал, что сказать. Потом сказал единственное, что мог:

— Я запомню, сударыня. Пип. Одиннадцать лет. Свистулька-птичка.

Ода снова опустила глаза.

— Все запоминают, — сказала она. — Все.

II. Дорога к Вишнёвому Долу

Дорога из Лиссы в Вишнёвый Дол шла вдоль реки, потом сворачивала в холмы, потом снова спускалась к реке — десять миль петляющего просёлка, разбитого колёсами телег и копытами волов, между каменными оградами, поросшими мхом и плющом, мимо садов, виноградников, мельниц и маленьких белых ферм.

Было утро — настоящее утро, не то, что висело над Шпилями вечным золотым пятном, а живое, движущееся, переменчивое: солнце то пряталось за облака, то выглядывало, и тогда по холмам бежали огромные тени, а цвет садов вспыхивал так ярко, что больно было смотреть. Пахло влажной землёй, цветущими яблонями, конским потом, дымом. На лугах у реки паслись козы. Где-то куковала кукушка — долго, настойчиво, словно кому-то отсчитывала годы. Ромашка шла неторопливой рысцой, помахивая хвостом, и двуколка скрипела на каждой рытвине так, будто жаловалась на жизнь.

Гаспар сидел рядом с Лукой на козлах и пытался его разговорить. Лука отвечал односложно.

Валериан сидел сзади, на узкой скамье, и смотрел по сторонам. И считал.

Серые пятна начались через две мили от Лиссы. Сначала маленькие — с телегу, с сарай, — у самой обочины, словно кто-то просыпал на землю мешок золы. Потом больше. Серый угол виноградника на склоне: половина рядов зелёные, ещё безлистные, с набухшими почками, а половина — серые, неподвижные, словно вылепленные из пепла. Серый луг у ручья, и на нём — три серые козы, застывшие, с опущенными к траве мордами. Серая мельница — колесо стояло, вода под ним текла, живая и прозрачная, а само колесо, и жёлоб, и стены, и черепица на крыше были серыми. Мельник, наверное, был внутри. Валериан не стал проверять.

Чем ближе к Вишнёвому Долу, тем больше становилось серого. Тем меньше — зелёного.

— Тут ещё зимой ничего такого не было, — сказал вдруг Лука, не оборачиваясь. Это была первая длинная фраза, которую он произнёс за всю дорогу. — Ни пятнышка. Я тут в феврале дрова возил. А теперь вон. Растёт. Как плесень по хлебу. Каждый день — больше. — Он помолчал. — Отец говорит, это проклятие. Что кто-то проклял Веллоров, а проклятие на всех перекинулось. Мать говорит — кара Светил. А пристав говорит — молчи и не болтай.

— А ты что думаешь? — спросил Валериан.

Лука долго молчал. Потом сказал:

— Я думаю, что это ничего не думает. Оно просто ест.

* * *

Через три часа они доехали до развилки.

Здесь, на перекрёстке двух дорог — одна уходила вниз, к реке, другая поднималась на холм, — стоял старый каменный крест. Очень старый: такой старый, что его перекладина накренилась, а углы стёрлись до округлости, словно его обсосали. На кресте не было никаких надписей, только у основания можно было различить полустёртые знаки — не буквы, а что-то вроде узора: переплетённые линии, похожие на ветви или на корни. Мох на кресте был зелёным. Валериан почему-то отметил это с облегчением.

Ромашка остановилась.

Не так, как останавливаются лошади, когда устали или когда натягивают вожжи. Она остановилась, как вкопанная, — разом, на всех четырёх ногах, — и её уши, только что лениво поворачивавшиеся из стороны в сторону, прижались к голове. Она задрожала. Мелкой, частой дрожью, от холки до крупа, — так, что задрожала вся двуколка.

— Ну вот, — сказал Лука. — Я ж говорил.

Он слез с козел, подошёл к лошади, взял её под уздцы, погладил по шее, что-то зашептал ей в ухо. Потянул вперёд. Ромашка не двинулась. Она стояла, дрожа, глядя куда-то вперёд, на

дорогу, уходящую вверх, на холм, — и в её огромных тёмных глазах стоял ужас. Не страх — ужас. Тот древний, бессловесный ужас, который звери чувствуют перед пожаром или перед землетрясением.

— Не пойдёт, — сказал Лука. — Хоть убей — не пойдёт. Дальше пешком, господа. Полмили. На холм, а там видно.

Он отвязал от двуколки их саквояжи и поставил на землю.

— А ты? — спросил Гаспар.

— А я — назад. — Лука уже разворачивал Ромашку, и лошадь, почувствовав, что её поворачивают прочь от холма, радостно рванула вперёд так, что двуколка подпрыгнула. — Вечером приеду. Сюда, к кресту. До заката. Если вас тут не будет — уеду.

— Подожди. — Валериан шагнул к нему. — Что они чуют, Лука? Звери?

Лука посмотрел на него с козел — сверху вниз, испуганно и почему-то с жалостью.

— Тишину, — сказал он. И, хлестнув Ромашку вожжами, уехал так быстро, что даже забыл попрощаться.

Валериан и Гаспар остались у креста одни.

На мягкой земле у развилки Валериан заметил следы — глубокие колеи от тяжёлых колёс, совсем свежие, и рядом — отпечатки подков, беспорядочные, перемешанные, словно лошади здесь топтались, пятились, бились. Колеи доходили до креста — и разворачивались. Чёрный экипаж серых мантий тоже не проехал дальше.

— Они пошли пешком? — спросил Гаспар.

Валериан присел на корточки и посмотрел внимательнее. От колеи вверх по дороге уходили следы — четыре пары сапог, узких, с острыми носами. Уходили — и возвращались. Возвращались быстрее: шаг был шире, носки глубже вдавлены в землю.

— Они пошли, — сказал Валериан. — И вернулись. Бегом.

Он выпрямился, взял свой саквояж и пошёл вверх по дороге.

* * *

Дождь, который сопровождал их от самого Актавиума и отстал только в Валлории, здесь, на подъёме, вдруг вернулся — мелкой, тихой моросью, почти невидимой, только ощутимой на лице, как прикосновение паутины. Солнце скрылось. Небо затянуло ровной серой пеленой. Ветер стих.

Дорога поднималась на холм. Справа тянулась каменная ограда — старая, сложенная без раствора, из плоских серых камней, поросших мхом. Ограда поместья Веллоров. Мох на ней был зелёным, живым, бархатным, и в нём блестели капли мороси, как роса. Валериан шёл и смотрел на этот мох, и каждый раз, когда он видел зелёное, что-то у него в груди отпускало, — а потом снова сжималось.

Гаспар шёл рядом и молчал. Он молчал с самого креста. Валериан слышал, как он дышит — тяжело, с присвистом, хотя подъём был пологий, а Гаспар мог пробежать с полной выкладкой три мили и не запыхаться.

На полпути к вершине кукушка, куковавшая где-то позади, в долине, замолчала. Валериан не сразу заметил это. Потом заметил — и понял, что не слышит больше ничего. Ни птиц. Ни ветра. Ни журчания ручья, который должен был течь где-то справа, за оградой, — он видел его русло. Ни шороха травы. Только их собственные шаги — и даже шаги звучали как-то странно: глухо, приглушённо, словно они шли по войлоку.

— Господин инспектор, — шёпотом сказал Гаспар. — Вы слышите?

— Нет.

— Вот и я — нет.

Они поднялись на вершину холма.

И мох кончился.

Он кончился не постепенно, а сразу — по ровной, чёткой, будто по линейке проведённой линии. С одной стороны — зелёный, бархатный, в каплях мороси. С другой — серый. Ровного, мягкого, пепельного цвета. Камни ограды по ту сторону линии тоже были серыми — не тем серым, каким бывает камень, а другим, мертвенным, словно из них вынули цвет, — и капли мороси, падая на них, не блестели. Они просто исчезали.

Валериан остановился на самой линии. Посмотрел вниз — туда, куда спускалась дорога, туда, где в изгибе реки лежал Вишнёвый Дол.

И долго не мог сделать ни шагу.

Он видел его на гравюрах — все в Империи видели. На календарях, на открытках, на крышках шкатулок, на праздничных плакатах ко Дню Победы. Десять гектаров вишнёвых террас, спускающихся к реке ровными зелёными ступенями. Белый господский дом с колоннадой, увитой виноградом. Старая сторожевая башня на краю обрыва, оставшаяся от Основания. Пруд с лебедями. И над всем этим — Старая Вишня, огромная, раскидистая, как облако, видная за мили. Весной, говорили, здесь цвело так, что белый туман лепестков видно было со станции Лисса.

Гравюра у него над столом, в квартире над мастерской Фрара, изображала именно это. Он смотрел на неё девять лет.

Теперь всё это было серым.

Не чёрным, как после пожара. Не бурым, как после засухи. Не белым, как под снегом. Серым — ровным, мягким, бесконечно спокойным серым цветом, какой бывает у пепла, давно остывшего в очаге. Серые террасы. Серые деревья — тысячи деревьев, все до одного, со всеми ветвями, со всеми листьями, со всеми бутонами, застывшие так, словно их отлили из пыли. Серая трава. Серая дорога. Серый дом с серой колоннадой и серым виноградом на ней. Серая башня. Серая вода в пруду — неподвижная, тусклая, без единой ряби, словно в пруд налили не воду, а свинец. На воде, у самого берега, сидели два лебедя.

Тоже серые.

А над всем этим, у дома, над прудом, раскинув ветви на полнеба, стояла Старая Вишня — огромная, древняя, как сама Империя, — в полном цвету. Серые цветы на серых ветвях. Миллионы серых цветов.

Над Вишнёвым Долом стояла тишина. Не та тишина, что бывает ночью в деревне или утром в лесу, — живая, полная мелких звуков. Абсолютная. Окончательная. Тишина, в которой не было ничего — даже самой тишины.

Гаспар у него за спиной медленно, неловко, как ребёнок, сложил пальцы знаком Трёх Светил и коснулся ими лба.

— Во имя Победы, — сказал он одними губами. — Что это, господин инспектор?

Валериан не ответил. Он достал самокрутку. Долго чиркал спичкой о коробок — спички отсырели, — пока одна наконец не вспыхнула. Закурил. Затянулся. Выдохнул.

Дым не поднялся. Он повис у его губ сизым облачком, неподвижный, плотный, как вата, — и медленно, неохотно, пополз вниз, к земле, по ту сторону линии, туда, где кончался мох. Словно его что-то тянуло.

Валериан шагнул через линию и пошёл вниз.

III. Вишнёвая аллея

Ворота поместья были открыты.

Это были высокие кованые ворота между двумя каменными столбами, увенчанными каменными вишнями — каждая ягода размером с кулак. Решётку украшал вензель Веллоров: вишнёвая ветвь, обвитая вокруг обнажённого меча остриём вниз. Меч — в память о Гаэле-

сотнике; ветвь — в память о том, что он посадил. «После крови — сад» — так гласил девиз рода, выкованный полукругом над вензелем, и буквы его чуть тронула ржавчина.

Ворота не были серыми.

Валериан остановился и долго смотрел на них. Каменные столбы — серые. Каменные вишни на столбах — серые. Земля под воротами — серая. Плющ, обвивавший столбы, — серый. А кованое железо решётки, вензель, меч, ветвь, буквы девиза — тёмные, обычные, чуть ржавые, такие, каким и должно быть старое железо.

Он протянул руку и коснулся решётки. Металл был холодным, мокрым, шершавым от ржавчины — настоящим. Он постучал по нему костяшками пальцев. Звук был — глухой, слабый, словно издалека, но был.

— Железо не тронуло, — сказал он вслух. — Камень тронуло, дерево тронуло, а железо — нет.

— Это хорошо или плохо? — спросил Гаспар.

— Это значит, что дело не в огне и не в кислоте. Огонь плавит железо. Кислота разъедает. А это… это прошло мимо железа. Как будто его не заметило. Или не захотело.

Он вытер руку о плащ и шагнул в ворота.

* * *

Сразу за воротами начиналась вишнёвая аллея.

Она шла от ворот к дому — прямая, широкая, длиной в четверть мили, обсаженная с обеих сторон вишнями. Старыми вишнями — по сто, по полтораста, по двести лет. Они стояли ровными рядами, через каждые десять шагов, и их ветви сплетались над аллеей в сплошной свод, как своды храма, — и когда-то, наверное, весной, идти под этим сводом было всё равно что идти внутри облака.

Теперь это было облако пепла.

Валериан шёл медленно, очень медленно, стараясь ступать по самой середине аллеи и не задевать ветви. Под ногами у него была серая дорожка, посыпанная когда-то белым речным песком, — теперь песок был серым и не хрустел под сапогами. Шаги не звучали вообще. Он шёл, как во сне, в полной тишине, и единственное, что он слышал, — это стук собственного сердца, и даже этот стук казался ему приглушённым, далёким, словно сердце билось не у него в груди, а в соседней комнате.

Он остановился у первого дерева.

Это была вишня лет ста — высокая, раскидистая, с толстым корявым стволом, с ветвями, склонившимися над аллеей, как руки над колыбелью. Она была в цвету. Каждая её ветка, каждый побег, каждый сучок были усыпаны цветами — пятилепестковыми, нежными, с тонкими тычинками, — и между цветами проглядывали молодые листья, ещё свёрнутые трубочкой. Валериан видел каждый лепесток. Каждую прожилку на каждом листе. Каждую зазубрину. Каждую тычинку. Каждую трещинку на коре.

Всё было серым. И всё было совершенным — пугающе, невозможно совершенным, словно работа сумасшедшего скульптора, который всю жизнь лепил из праха одно дерево и наконец вылепил его так, что не отличить от живого. Ни одна ветка не сломана. Ни один лепесток не упал. Ни один лист не сморщился. Дерево застыло в ту самую секунду, в какую его застало то, что пришло в Вишнёвый Дол, — застыло в полном цвету, в полной силе, в самый прекрасный миг своей жизни.

Он протянул руку и осторожно, двумя пальцами, коснулся цветка.

Цветок беззвучно рассыпался.

Это было похоже на то, как рассыпается пепел от сгоревшей бумаги, если тронуть его пальцем, — только медленнее и тише. Пять серых лепестков, тычинки, чашечка — всё превратилось в облачко тончайшей пыли, которое повисло в воздухе, не падая. А потом — так, будто его прикосновение пустило невидимую волну, — начала осыпаться вся ветка: цветок

за цветком, лист за листом, сучок за сучком, от кончика к стволу. А за ней — соседняя. А за ней — следующая. А потом всё дерево целиком начало медленно, бесшумно оседать вниз, складываясь само в себя, как оседает весной подтаявший сугроб, — ветви, ствол, корни, — и через несколько мгновений там, где стояла столетняя вишня, на серой земле лежал холмик серой пыли — лёгкой, невесомой, тоньше муки, тоньше пудры.

Ветерка не было. Но пыль поднялась над холмиком и поплыла над аллеей облаком, клубясь, медленно поворачиваясь, не оседая, — словно не имела веса вовсе. Она плыла вдоль аллеи, между серыми деревьями, и деревья, которых она касалась, не рассыпались. Только это, первое.

Гаспар отступил на шаг и выругался — длинно, грязно, по-каменотёсски. Валериан никогда не слышал, чтобы он так ругался.

Валериан смотрел на свои пальцы.

На кончиках осталась серая пудра. Он поднёс их к глазам. Пудра была тонкой, как цветочная пыльца, и совершенно однородной — ни крупинки, ни волокна, ничего, что можно было бы разглядеть даже в лупу. Он достал лупу, посмотрел. Ничего. Серая плоскость. Она не была холодной и не была тёплой. Она вообще не ощущалась — он видел её глазами, но его кожа её не чувствовала, как будто на пальцах ничего не было. Он поднёс пальцы к носу. Пыль ничем не пахла. Совсем. Даже пыль пахнет — пылью. Эта не пахла ничем.

Он вытер руку о плащ — тщательно, долго — и пошёл к дому, стараясь больше ничего не задевать.

* * *

На середине аллеи Валериан остановился ещё раз. Ему пришла в голову мысль — простая, нелепая, как все мысли, которые приходят в голову от страха, — и он решил её проверить.

Он поднял руки и хлопнул в ладоши. Громко, резко, изо всех сил.

Звука не было.

Не эха — звука. Ладони сошлись, он почувствовал удар, почувствовал, как зажгло кожу, — но не услышал ничего. Ни хлопка, ни шлепка, ни отзвука. Словно кто-то вырезал этот звук из мира ножницами и унёс.

Он хлопнул ещё раз. И ещё. Ничего.

— Гаспар, — сказал он. — Скажи что-нибудь.

— Что сказать, господин инспектор? — Голос Гаспара доносился до него так, словно сержант говорил из-за толстой стены, хотя стоял в двух шагах. Глухо, далеко, без тембра — одни слова, без звука.

— Крикни.

Гаспар набрал воздуха и крикнул — Валериан видел, как надулись жилы у него на шее, как побагровело лицо, как широко раскрылся рот. До Валериана донёсся слабый, едва различимый шёпот: «А-а-а…». Как будто Гаспар кричал на другом берегу реки.

Тишина съедала звук. Не заглушала — съедала. Как сухая земля съедает воду.

Гаспар закрыл рот и посмотрел на Валериана с таким выражением, с каким, наверное, смотрел бы на него, если бы тот вдруг заговорил на эльфийском.

— Пойдём, — сказал Валериан одними губами. Гаспар понял.

* * *

У конца аллеи, перед домом, раскинулся пруд — большой, овальный, обложенный по краю серым тёсаным камнем, с серыми кувшинками на серой воде и с маленькой серой беседкой на островке посередине. Вода в пруду была неподвижна — абсолютно, как стекло, как зеркало, — но ничего не отражала. Валериан наклонился над ней и не увидел своего лица. Только серую плоскость, ровную и глубокую, как будто смотришь в пустоту.

Лебеди сидели у самого берега, в двух шагах от него.

Их было двое. Большие, красивые — шеи изогнуты одна к другой, так, что вместе они образовывали сердце, — классическая поза, которую рисовали на всех свадебных открытках Империи. Один спал, спрятав голову под крыло. Другой смотрел на него — на спящего — с выражением, которое у птицы невозможно описать, а у человека назвали бы нежностью. Серые перья. Серые клювы. Серые глаза.

Валериан смотрел на них долго. Он не стал их трогать.

Он вспомнил, что лебеди выбирают пару один раз — на всю жизнь. Об этом пели в Брюхе, в трактирах, сентиментальные песни про верность, от которых грузчики плакали в кружки. Если один из пары умирает, второй иногда не может улететь от этого места: так и плавает кругами по пруду, пока не умрёт сам. Здесь не пришлось выбирать. Здесь они ушли вместе, в одну и ту же секунду, — один во сне, другой глядя на спящего. Валериан подумал, что это, наверное, единственное милосердие во всём Вишнёвом Доле. И тут же — что это вовсе не милосердие. Просто тому, что пришло сюда, было всё равно.

Над прудом, над домом, над всем Вишнёвым Долом раскинулась Старая Вишня.

Вблизи она была ещё огромнее, чем казалась с холма. Её ствол — у основания в три обхвата, не меньше, — был весь изрыт трещинами, наплывами, дуплами, как лицо древнего старика, и раздваивался на высоте двух человеческих ростов на два могучих ствола, а те — на десятки ветвей, каждая толщиной с хорошее дерево. Ветви поднимались высоко над крышей дома и раскидывались во все стороны, накрывая и дом, и пруд, и часть террас, так что под ней было бы сумрачно даже в ясный день. Корни, толстые, как змеи, выползали из земли и уходили в пруд, в стены дома, под дорожки. Пятьсот лет. Пятьсот лет она росла здесь, на голом склоне, где когда-то стояла чья-то снесённая башня, — из одной косточки, найденной в пепле у стен Клыка.

Она была в цвету. Вся. Каждая ветвь. Миллионы цветов. Серые.

Валериан стоял под ней и смотрел вверх, задрав голову. Серые ветви. Серые цветы. Серое небо сквозь серые цветы.

И вдруг, на самой вершине, на самой высокой, самой тонкой ветке, там, где Старая Вишня касалась неба, — он увидел цвет.

Маленькое пятнышко. Одно. Бледное, едва заметное.

Зелёное.

Один лист. Молодой, свёрнутый трубочкой, ещё не раскрывшийся. Живой.

Валериан моргнул — и потерял его из виду. Ветви, цветы, серое на сером. Он искал его глазами, щурился, переходил с места на место, — и больше не нашёл.

Может быть, ему показалось.

Может быть.

Он постоял ещё немного, потом повернулся и пошёл к дому, чьи двери были распахнуты настежь, — так, словно хозяева ждали гостей.

IV. Семеро за столом

Двери господского дома были распахнуты.

Валериан переступил порог и оказался в прихожей — просторной, высокой, с полом из серых каменных плит, с широкой лестницей, уходящей наверх, с дубовыми панелями на стенах. Здесь пахло бы воском, кожей, старым деревом и цветами, если бы здесь хоть чем-нибудь пахло. Здесь не пахло ничем.

На серой вешалке у двери висели серые плащи — три мужских, один женский, один маленький, детский, с капюшоном. Под ними на полу стояли серые сапоги и туфли, ровно, парами, носками к стене. На серой подставке — серые зонты и трость с серым набалдашником в виде вишни. На серой полке — серые перчатки, серая шляпа, серая корзинка с серым вязанием,

из которого торчали серые спицы. По серой лестнице поднимался серый ковёр. Серые перила, отполированные сотнями рук за сотни лет, блестели бы, если бы что-нибудь здесь могло блестеть.

На стене, напротив входа, в тяжёлой серой раме, висел портрет.

Мужчина в доспехах — старинных, грубых, какие носили пятьсот лет назад, — с суровым, иссечённым шрамами лицом, с короткой бородой, с глубоко посаженными глазами. В правой руке он держал меч, остриём вниз, упёртым в землю. В левой — вишнёвую ветвь в цвету. За его спиной художник изобразил горящую чёрную крепость под багровым небом.

Гаэль Веллор. Основатель. Сотник Луция Великодушного, поднявшийся на стены Клыка в первой волне. Девять ран — и одна в сердце, только сердце было крепкое.

Портрет был серым. Серое лицо. Серые доспехи. Серый меч. Серая ветвь в серой руке. Серое пламя над серой крепостью.

Валериан стоял перед ним долго. Он смотрел в серые глаза старого сотника и думал о косточке, найденной в пепле у стен Клыка. *Единственное живое, что я видел в этой земле*. Он думал: каким же должен был быть этот человек, чтобы посреди войны, посреди крови, посреди горящей крепости наклониться и подобрать вишнёвую косточку? И что он видел там, на севере, у стен, в последний день — что заставило его поверить, что после крови должен быть сад?

Портрет не ответил.

Шаги Валериана по каменному полу звучали глухо, как в вате, — едва-едва, как будто он шёл не по камню, а по мху. Гаспар шёл за ним и не издавал ни звука вообще.

Из прихожей налево вела высокая двустворчатая дверь. Одна створка была открыта.

Столовая.

Валериан вошёл и остановился.

* * *

За длинным обеденным столом сидела семья.

Стол был накрыт для ужина — накрыт парадно, по-праздничному: белая скатерть с вышитыми по краю вишнями, серебро, фарфор, хрусталь, три подсвечника по пять свечей, вазы с цветами. Цветы были вишнёвые — свежесрезанные ветки, поставленные в воду. Серые. Свечи в подсвечниках — серые, наполовину сгоревшие, с серыми застывшими каплями воска на серых боках и с серыми фитилями, на которых застыли серые язычки пламени. Пламени, которое не дрожало.

Еда на тарелках. Жаркое — серое. Хлеб — серый. Вишнёвое варенье в хрустальной вазочке — серое. Вино в бокалах — серое, неподвижное, как вода в пруду, без единого блика.

И люди.

Их было семеро.

Во главе стола, в высоком кресле с резной спинкой, сидел высокий, седеющий мужчина лет пятидесяти пяти в домашнем бархатном сюртуке — тот самый, что смотрел на Валериана с гравюры в «Листке Срединного Града» каждый год ко Дню Победы, когда в газете печатали снимок праздничной раздачи вишен. Лорд Аврелий Веллор. Лицо узкое, умное, с морщинами у глаз — морщинами человека, который много смеялся когда-то, а потом перестал. Он поднимал бокал. Рука с бокалом застыла на полпути ко рту, и лицо его было обращено к остальным — открытое, спокойное, чуть грустное. Казалось, он только что произнёс тост и сейчас выпьет.

За тех, кто посадил, и за тех, кто сохранил.

По правую руку от него — пожилая женщина в кружевном чепце и строгом тёмном платье с белым воротником, худая, прямая, с поджатыми губами. Тётка, наверное, или экономка, или вдовая сестра. Она тянулась к солонке — изящно, двумя пальцами, оттопырив мизинец, — и на лице у неё было выражение лёгкого неодобрения, словно жаркое пересолили, а она собиралась пересолить его ещё больше, чтобы доказать свою правоту.

По левую руку — двое молодых людей, лет двадцати пяти и двадцати двух, похожих на отца: те же узкие умные лица, те же высокие лбы. Старший повернулся к младшему и что-то ему говорил — его рот был приоткрыт, рука поднята в жесте, словно он объяснял что-то важное. Младший смеялся. Он откинулся на спинку стула и смеялся — во весь рот, запрокинув голову, зажмурив глаза, — и в серых складках у его рта, в серых морщинках у его глаз застыла улыбка, такая живая, что, казалось, сейчас она зазвучит.

Рядом с ним — девочка.

Ей было лет тринадцать. Тонкая, светловолосая, с двумя косами, перевязанными лентами. Она сидела, болтая ногами под стулом — одна нога застыла в воздухе, — и держала в руке ложку. На ложке лежала вишня из варенья. Девочка подносила её ко рту и смотрела не на ложку, а на брата, который смеялся, — смотрела с тем выражением обожания, с каким младшие сёстры смотрят на старших братьев, когда те смешные.

Двое слуг стояли у стены — пожилой лакей в ливрее с подносом, на котором стоял серый графин, и молоденькая горничная в белом переднике. Лакей застыл в полупоклоне, собираясь налить вина. Горничная смотрела на смеющегося младшего сына — и у неё на щеках, Валериан готов был поклясться, был румянец. Серый румянец.

Никто не кричал. Никто не бежал. Никто не упал со стула, не схватился за горло, не перевернул стол. Никто даже не успел удивиться. Они сидели так, будто их застали посреди обычного вечера — естественно, спокойно, просто, в тот самый миг, когда отец поднимал бокал, когда тётка тянулась за солонкой, когда младший брат смеялся над шуткой старшего, а сестра смотрела на него с обожанием, а горничная краснела.

Было ли им больно? Валериан смотрел на их лица и думал, что нет. Не было. Они ничего не почувствовали. Их просто… выключили. Как гасят свечу двумя пальцами.

За окнами столовой — высокими, от пола до потолка, выходящими на террасу и на пруд — тихо, беззвучно падала морось.

— Сохрани нас Свет, — прошептал Гаспар у него за спиной. Валериан услышал его не ушами — он прочитал это по движению воздуха у своего затылка. Больше Гаспар ничего не сказал.

* * *

Валериан долго стоял в дверях.

Он видел много смертей. За двадцать лет в Коллегии — почти все виды смерти, какие может придумать человек, и несколько таких, каких человек придумать не может. Утопленников, повешенных, зарезанных, застреленных, отравленных, сожжённых, забитых до смерти. Жертв запрещённой магии — с вывернутыми суставами, с выжженными изнутри глазами, с кожей, превращённой в стекло. Самоубийц. Детей. Целые семьи, задохнувшиеся в подвале от суррогатного эфира, когда треснул баллон.

Но в каждой смерти было что-то, за что цеплялся взгляд. Кровь. Ужас на лице. Гримаса боли. След борьбы. След чужой воли — злобы, жадности, страсти, безумия. Даже у самоубийц был след — след отчаяния. Смерть всегда была *событием*. Чем-то, что произошло. У неё была причина и следствие, начало и конец, преступник и жертва, — и его работа как раз и состояла в том, чтобы найти между ними нить.

Здесь не было события.

Здесь было так, будто у этих людей просто забрали самих себя. Аккуратно. Целиком. Не потревожив ни складки на одежде, ни волоска в причёске, ни ложки в руке. Забрали всё — жизнь, тепло, дыхание, цвет, звук, запах, — и оставили только форму. Пустую форму, слепок, оболочку, которая держится лишь потому, что её никто не трогал.

Как формочку для песка, из которой вынули песок, а она почему-то сохранила его очертания.

Валериан медленно прошёл вдоль стола. Он не касался ничего. Он смотрел.

На тарелке у девочки, рядом с вишнёвым вареньем, лежала маленькая записка, сложенная вчетверо, — розовая бумага, такие продают в лавках для барышень. На записке детским почерком, крупно, было написано: «Папе. Открыть после ужина». Серая записка. Серые буквы.

Он не стал её открывать. Он понимал, что, если тронет, она рассыплется. И тогда никто никогда не узнает, что там было написано.

У стены, за спиной горничной, стоял буфет, а на буфете — часы: высокие, каминные, в корпусе из тёмного дерева с инкрустацией, — точно такие Фрар чинил в своей мастерской и ругался, что их делают для красоты, а не для дела. Стрелки часов остановились на девяти часах сорока минутах. Маятник за стеклом застыл в крайнем положении — отклонённый влево, словно в последний миг его что-то потянуло, а вернуться он уже не смог. Девять сорок вечера. Время, когда в Валларии садятся за поздний ужин. Время, когда в Брюхе фонарщики заканчивают обход.

Он дошёл до конца стола и остановился у кресла лорда Веллора. Посмотрел на его руку с бокалом. На его лицо. На его глаза — открытые, спокойные, чуть грустные, устремлённые на детей.

У лорда в нагрудном кармане сюртука торчал уголок конверта. На конверте — штемпель Актавиума и адрес: «Леди Лире Веллор, Ботаническая академия, Срединный Град». И слово, подчёркнутое дважды: «Не отправлено».

Значит, была ещё одна дочь. Восьмая. Та, которой не было за столом.

Валериан выпрямился. Посмотрел на Гаспара. Сержант стоял в дверях — огромный, бледный, с мокрым лицом, — и смотрел на девочку с косами. На ложку с вишней в её руке.

Валериан знал, о ком он думает. О младшей. О восьми годах. О кукле в розовой бумаге на верхней полке, за горшками.

— Гаспар, — сказал он одними губами. — Выйди на террасу.

Гаспар не двинулся.

— Это приказ.

Гаспар медленно кивнул и вышел.

Валериан остался в столовой один — с семерыми за столом — и достал из внутреннего кармана портсигар.

V. Ничего. Совсем.

Он щёлкнул крышкой портсигара. В тишине столовой этот щелчок не прозвучал — Валериан почувствовал его пальцами, но не услышал.

— Клик, — сказал он тихо. Он сказал это вслух, хотя знал, что звук не дойдёт. Мышь услышит. Мышь всегда слышала, даже то, что он не говорил. — Работа.

Мышь вылезла неохотно.

Она всегда вылезала неохотно — ворча, щёлкая, дёргая цепочкой хвоста, всем своим видом показывая, что её оторвали от важных дел ради какой-то ерунды. Это был ритуал. За двенадцать лет Валериан привык к нему так, как привыкают к ворчанию старой жены по утрам: если бы его не было, он бы встревожился.

Но сейчас было по-другому.

Клик не ворчала. Она высунула мордочку из портсигара и замерла на краю, приподняв медные ушки, — замерла так, как замирает живой зверёк, учуявший лису у норы. Голубые огоньки в её кристаллических глазах замигали — быстро, часто, неровно, словно в них дрожало пламя. Хвост-цепочка, обычно подвижный, как у живой мыши, повис неподвижно.

— Ну же, — сказал Валериан. — Ты делала это тысячу раз.

Мышь посмотрела на него. Он не мог прочитать выражения на латунной мордочке — выражений у неё не было, — но мог поклясться, что в этом взгляде был вопрос. И что-то ещё. Что-то, чего он никогда не видел в ней за двенадцать лет.

Страх.

Потом Клик спрыгнула на скатерть.

Она пробежала по столу — между серыми тарелками, мимо серой солонки, к которой тянулась серая рука тётки, обогнула серую вазу с серыми вишнёвыми ветками, перебралась через серый нож, лежащий поперёк дороги. Её лапки бесшумно касались скатерти, и под каждой лапкой серая ткань чуть заметно осыпалась — крошечными облачками пыли, которые поднимались и висели в воздухе.

Она подбежала к руке лорда Веллора — той, что лежала на скатерти рядом с тарелкой, ладонью вниз, расслабленно, с обручальным кольцом на безымянном пальце. Кольцо было серым. Остановилась перед ней. Помедлила.

И ткнулась в неё мордочкой — так, как делала всегда, когда начинала сканирование. Касание, лёгкое, как поцелуй.

И замерла.

Секунда.

Две.

Пять.

Валериан ждал. Обычно сканирование занимало мгновение — мышь касалась тела, или предмета, или стены, и её кристаллы вспыхивали голубым, и она тут же отскакивала и начинала стучать: *кровь, яд, огонь, эфир, магия порядка, кристалл такой-то, давность такая-то*. Иногда, когда следов было много или они были очень слабыми, сканирование длилось дольше — секунду, две. Никогда — больше.

Десять секунд.

Клик не двигалась. Её мордочка была прижата к серой руке, и Валериан видел, как голубые огоньки в её глазах медленно, медленно гаснут — тускнеют, сужаются, превращаются в точки, — словно в них кончалось масло. Словно что-то вытягивало из неё свет.

— Клик?

Пятнадцать секунд.

— Клик!

Мышь вздрогнула всем телом — так, словно её ударило током, — отпрыгнула от серой руки, перевернулась в воздухе, упала на скатерть, вскочила и помчалась назад, к Валериану, не разбирая дороги: сквозь серую вазу, которая беззвучно рассыпалась облаком пыли, через серую тарелку, которая осела в пыль, по серому ножу. Она взлетела по его рукаву, на плечо, за воротник — туда, где пряталась только во время грозы, — и забилась у самой шеи, у сонной артерии, и он почувствовал, как дрожит её латунное тельце. Как стучат её маленькие шестерёнки — быстро, сбивчиво, как перепуганное сердце.

Он стоял неподвижно и ждал.

Потом — очень медленно, после долгой паузы — крошечная лапка застучала по медной пряжке его воротника:

Тук. Тук. Тук-тук-тук. Тук.

Валериан закрыл глаза.

Он ожидал прочесть что угодно. «Магия» — любая, светлая или тёмная, эльфийская или людская. «Яд» — какой угодно, даже неизвестный. «Кровь». «Эфир». «Огонь». «Кристалл». «Проклятие». «Демон» — хотя в демонов он не верил. Любое из сотен слов, которые Клик выстукивала за двенадцать лет службы. Мышь могла найти след самого слабого заклинания через неделю после того, как его сотворили. Могла различить почерк мага, как графолог различает почерк писца. Могла сказать, каким кристаллом заряжали оружие, из какой шахты добыт

этот кристалл и сколько раз его перезаряжали. Не было места в Империи — ни в Шпилях, ни в Брюхе, ни в провинции, — где не оставалось бы следа хоть какой-нибудь магии. Хотя бы фона. Хотя бы слабого эха кристаллических фонарей. Хотя бы тепла живого дыхания — потому что жизнь сама по себе была разновидностью магии, говорили алхимики, и оставляла свой след.

Клик выстучала одно слово.

«Ничего».

Пауза. Долгая.

И ещё раз, медленнее, словно сама не могла в это поверить:

«Ничего. Совсем».

И ещё — уже тише, сбиваясь:

«Там нет даже нет. Там нет даже пустоты. Там — дыра».

Валериан открыл глаза.

Семеро за столом смотрели друг на друга, улыбались, смеялись, тянулись за солонкой, поднимали бокал. Дыры в форме людей.

Он повернулся и вышел на террасу.

* * *

Терраса шла вдоль всего фасада дома — широкая, вымощенная серыми плитами, с серой каменной балюстрадой, с серыми вазонами, в которых стояли серые лимонные деревца. С неё открывался вид на пруд, на Старую Вишню, на террасы сада, спускающиеся к реке, — серые ступени, уходящие в серую даль.

Гаспар сидел на ступеньках, ведущих в сад, спиной к дому, и смотрел на реку. Лисса текла внизу — единственное, что двигалось во всём Вишнёвом Доле, — и была живой, прозрачной, тёмной, обычной. Граница серого шла по самому берегу. Вода не стала серой. Вода, как и железо, оказалась ему не по зубам — или неинтересна.

Валериан сел на серую каменную скамью у балюстрады, которая, к счастью, оказалась твёрдой. Достал кисет, бумагу. Скрутил самокрутку — медленно, тщательно, как скручивал всегда, когда ему нужно было подумать. Пальцы у него дрожали, и табак сыпался на колени. Он заметил это и удивился. Пальцы у него не дрожали никогда.

Он закурил и затянулся так глубоко, что закашлялся — долго, надрывно, согнувшись пополам, как кашлял когда-то отец. Потом выпрямился. Выдохнул — долго, медленно, думая изо всех сил.

Дым поднялся над террасой и сложился в знак вопроса.

Большой. Чёткий. Сизый на фоне серого неба. Самый большой вопросительный знак, какой он когда-либо выдыхал.

Валериан ждал, что он растает. Дым «Чёрной Полыни» держался в воздухе минуту, иногда две, когда мысль была особенно тяжёлой; однажды, в ночь, когда он раскрыл дело Морна, — пять минут. Потом всегда таял, расползался, уходил вверх.

Этот знак не таял.

Он висел над террасой, неподвижный, чёткий, ни на волос не изменив формы. Минуту. Пять. Десять. Солнце — невидимое за серой пеленой — садилось где-то на западе, и свет медленно тускнел, серое становилось темнее, — а знак висел. Ничто не могло его рассеять. Здесь не было ничего, что могло бы его рассеять. Ни ветра, ни звука, ни движения, ни жизни. Здесь дым не умирал, потому что здесь не было ничего, что делает смерть возможной.

Валериан смотрел на него, пока самокрутка не догорела до пальцев.

* * *

Лука не дождался их у креста. Они спустились туда на закате, как договаривались, — креста было не видно в сумерках, только его тёмный силуэт на фоне неба, — и никого не нашли. На мягкой земле остались следы двуколки: она приезжала, постояла, развернулась и уехала. Может быть, Ромашка не захотела ждать. Может быть, Лука.

Возвращаться в Лиссу пешком, десять миль в темноте, не было смысла. Они вернулись в поместье.

Ночевать в доме Валериан не стал. Ночевать в доме, где семеро сидели за столом, — нет. Они остались на террасе. Гаспар принёс из конюшни — серой, с серыми лошадьми в серых денниках, — охапку соломы, которая была не серой, потому что её привезли позавчера, судя по всему, люди пристава, и бросили у ворот. Расстелил её на плитах. Достал из саквояжа хлеб, сыр, флягу. Они ели молча. Валериан не чувствовал вкуса.

Ночь пришла быстро — непроглядная, беззвёздная, тихая, как вода на дне колодца. Луна поднялась над холмами поздно, бледная, ущербная, мутная за пеленой облаков, и в её свете серые террасы стали похожи на застывшие волны пепельного моря, а Старая Вишня — на огромный серый призрак, раскинувший руки над домом.

Знак вопроса всё ещё висел над балюстрадой. В лунном свете он казался серебряным.

Гаспар уснул около полуночи — даже здесь, даже сейчас. Валериан сидел, прислонившись спиной к серой стене дома, и не спал.

Он не знал, сколько прошло времени, когда почувствовал это.

Не увидел. Не услышал — здесь нечего было слышать. Почувствовал — так, как чувствуешь, что кто-то вошёл в тёмную комнату у тебя за спиной.

Клик за воротником сжалась в комок.

Внизу, на третьей террасе от дома, среди серых вишен, что-то двигалось.

Он не мог бы сказать — что. Там не было ничего — ни тени, ни очертаний, ни силуэта. Но лунный свет, падавший на террасу, в одном месте… прерывался. Не так, как прерывается свет, когда его заслоняет тень, — а так, словно в этом месте не было ничего, на что свет мог бы упасть. Пятно отсутствия. Размером с человека — может быть, чуть больше. Оно медленно, очень медленно ползло между деревьями, вверх по террасам, к дому.

Там, где оно проходило, серая пыль на земле не шевелилась. Но и не лежала. Её просто не было — на одно мгновение, пока оно проходило, — а потом она снова была.

Валериан не двигался. Он не дышал. Он смотрел, как это поднимается — с третьей террасы на вторую, со второй на первую, — к пруду, к Старой Вишне, к дому. К террасе. К нему.

Оно остановилось у самой балюстрады. В десяти шагах.

Валериан не видел его. Совсем. Он смотрел прямо на то место, где оно было, — и видел балюстраду, вазон, лимонное деревце, лунный свет, — но там, в середине, было что-то, на что его глаза отказывались смотреть. Как будто взгляд соскальзывал. Как будто в мире была прорезана дыра, и мир не хотел её замечать.

Над балюстрадой висел дымный вопросительный знак — серебряный в лунном свете.

Пятно отсутствия медленно поднялось к нему.

Знак исчез. Не растаял, не рассеялся — исчез. Только что был — и нет.

А потом исчезло и пятно. Валериан моргнул — и балюстрада снова была просто балюстрадой, а лунный свет падал на неё ровно, и ничто не прерывало его.

Он сидел неподвижно до самого рассвета. Клик дрожала у его шеи.

На рассвете, когда серое небо на востоке стало чуть светлее, Гаспар проснулся, потянулся, огляделся и спросил хриплым со сна голосом:

— Господин инспектор, а где ваш знак? Который висел?

— Его съели, — сказал Валериан.

Гаспар посмотрел на него и не стал переспрашивать.

Глава четвёртая

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПЫЛИ

«…установка смонтирована в погребе согласно чертежу. Заказчик полагает, что речь идёт о мелиорации. Пусть полагает. Если опыт удастся, мы вернём земле то, что у неё отняли. Если нет — да простит меня тот, кто держал небо».

— Обгоревший лист из лабораторного журнала, найденный в поместье Вишнёвый Дол

I. Люк под кухней

Утро не наступило — оно просочилось.

Над Вишнёвым Долом не было рассвета: не было розовой полосы на востоке, не было первого луча, не было птичьего гомона, которым в Валлории встречают солнце. Просто серое небо стало чуть менее тёмным, потом ещё чуть-чуть, потом ещё — так медленно, что невозможно было уловить мгновение, когда ночь кончилась. Серые террасы проступили из темноты, как проступает изображение на старой фотографической пластинке, — сначала смутные очертания, потом контуры, потом подробности. Старая Вишня над прудом. Серая беседка на острове. Серые лебеди. Всё было на своих местах. Всё было таким же, как вчера. Ничего не изменилось и никогда больше не изменится.

Гаспар разжёг костерок из той соломы, что не была серой, и вскипятил воду в жестяной кружке. Чай из Брюха — горький, крепкий, чёрный, как дёготь, — пах в этой тишине так оглушительно, что Валериан чуть не заплакал. Запах. Хоть какой-то запах. Он пил медленно, держа кружку обеими руками, и смотрел на пустое место над балюстрадой, где ночью висел его дымный знак.

Он не рассказал Гаспару о том, что видел. Не потому, что не доверял. Потому, что не знал, как об этом рассказать. *Я видел, как ничто подошло ко мне на десять шагов и съело мою мысль*. Это звучало как бред сумасшедшего с Мельничной улицы.

— Что будем делать, господин инспектор? — спросил Гаспар.

— Работать.

— А что тут работать? — Сержант обвёл рукой серую террасу, серый сад, серое небо. — Протокол осмотра? «Всё серое, все мёртвые, причина неизвестна»?

— Причина всегда известна, Гаспар. Просто не всегда нам. — Валериан поставил кружку на плиту. — Двенадцатый год Устава, курсантская лекция магистра Фаэ: «Нет события без причины, нет причины без следа, нет следа без того, кто умеет его видеть». Мы ищем след. Где-то в этом доме кто-то что-то делал. Мастер Корвин с бородкой клинышком привёз зимой машину на трёх подводах. Машину нужно где-то поставить. Большую машину нельзя поставить в гостиной.

— Сарай? Конюшня?

— Проверь конюшню и сараи. Я — дом. Не трогай ничего, что серое. Если что-то найдёшь — не заходи, зови.

* * *

Валериан обошёл дом за час.

Это был старый дом — очень старый, построенный, как он понял по толщине стен и форме сводов, в первый век после Победы, и с тех пор не раз перестроенный, расширенный, украшенный. Самая древняя его часть — приземистая, с узкими окнами-бойницами, со стенами в два локтя толщиной — примыкала к старой сторожевой башне на краю обрыва; позднейшие — светлые, с высокими окнами, с колоннадой — выходили на сад. Всё было серым. Всё было на своих местах.

Гостиная с камином, в котором лежали серые недогоревшие поленья. Библиотека — сотни серых книг на серых полках, и на столе раскрытый серый атлас Валлариии с серой лупой поверх. Кабинет лорда: серые бумаги на серой конторке, серые счёты, серая чернильница с застывшим серым пером. Спальни наверху. Детская — нет, комната девочки, тринадцатилетней: серые куклы на серой полке, серый мольберт с неоконченным серым рисунком — Старая Вишня в цвету, — серые ленты, разложенные на подоконнике по цветам, которых больше не было. Комната с белой — серой — кроватью под балдахином, аккуратно застеленной, с подушкой, на которой лежал засушенный цветок: комната, где, видимо, когда-то жила Лира и куда её ждали.

В кабинете лорда, на стене над конторкой, висела карта Валлариии — старая, рукописная, раскрашенная от руки акварелью. На ней кто-то — наверное, сам лорд — отмечал что-то булавками с цветными головками. Булавок было много: красные, синие, жёлтые. Красные стояли тесно, кучками, вдоль реки и на холмах вокруг Вишнёвого Дола. Карта была серой, булавки — серыми, и Валериан не мог уже различить, какая из них какого цвета. Но он запомнил расположение. Двадцать восемь булавок. И одну — большую, с головкой в виде вишни, — воткнутую в сам Вишнёвый Дол, в изгиб реки.

Валериан ничего не трогал. Он только смотрел — и запоминал. Это было его ремесло: смотреть и запоминать. Где что лежит. Что сдвинуто. Чего не хватает. Он не нашёл ничего, что было бы сдвинуто. Ничего, чего бы не хватало. Дом умер так, как умирает человек во сне: не заметив.

Он спускался по главной лестнице, когда снизу, из глубины дома, донёсся голос Гаспара — глухой, едва различимый, как из-под воды:

— Господин инспектор! Сюда! На кухню!

Валериан пошёл на голос.

Кухня была в старой части дома — огромная, сводчатая, с очагом, в котором можно было зажарить быка, с медными котлами на крюках, с длинным дубовым столом, со связками серого чеснока и серого лука под потолком, с серыми хлебами в серой корзине. Серая кошка спала на серой лежанке у очага, свернувшись клубком, — Валериан обошёл её стороной.

Гаспар стоял на коленях у дальней стены, у двери в кладовую, и смотрел в пол.

— Вот, — сказал он, не поднимая головы. — Глядите.

Сержант не любил думать — это все знали, и он сам первый говорил об этом, без стыда, как говорят о росте или о цвете глаз. Зато он умел искать. Особенно еду, выпивку и всё, что прятали от него с наибольшим усердием. В Третьем участке ходила шутка, что если Гаспара Кнелла запереть в пустой комнате, через час он найдёт в ней тайник, бутылку и спрятанный пирог, даже если их там нет. Это была преувеличенная шутка. Но не очень.

На полу у кладовой, вдоль стены, лежали серые плиты — такие же, как везде на кухне. И серая пыль на них лежала так же, как везде: тонким, ровным, нетронутым слоем. Почти везде.

У одной плиты — квадратной, чуть крупнее соседних, — пыль лежала неровно. По самому краю плиты, по всем четырём сторонам, тянулась тончайшая щель — тоньше волоса, — и вдоль этой щели пыль не лежала, а словно стекала внутрь, как песок в песочных часах. Медленно, едва заметно.

— Под ней пусто, — сказал Гаспар. — Я постучал. Звук есть. — Он поднял на Валериана глаза. — Понимаете? Звук. Здесь, на кухне, — нет. А под ней — есть.

Валериан опустился рядом на колени. Постучал по плите костяшкой пальца. Звука не было. Постучал по соседней — не было. А когда он приложил ухо к щели, то услышал — далеко, слабо, как шум крови в ушах, — гул. Низкий, ровный гул. Что-то там, внизу, гудело.

Он нащупал на краю плиты железное кольцо, утопленное в камень, — серое снаружи, но, когда он подцепил его ногтем и вытянул, под серым налётом блеснуло обычное, тёмное, чуть ржавое железо. Он потянул. Плита была тяжёлой, но подалась — медленно, со скрипом,

который они оба услышали, — настоящим, живым, железным скрипом петель, — и откинулась вверх, открывая квадратный чёрный провал.

Из провала пахнуло.

Сыростью. Плесенью. Землёй. Холодом. Мокрым камнем. И ещё чем-то — едким, металлическим, кисловатым, — алхимическим. Запахом, который Валериан знал по подвалам Коллегии, где работали судебные алхимики: смесь серы, купороса, ртути и озона, как после грозы.

Запах. Настоящий, живой, вонючий, прекрасный запах.

Гаспар вдохнул его полной грудью и вдруг засмеялся — коротко, хрипло, почти всхлипнув.

— Пахнет, — сказал он. — Господи Светлый, оно пахнет.

* * *

Вниз вела каменная лестница — узкая, крутая, винтовая, уходящая в темноту. Ступени были старыми, стёртыми посередине до ложбинок сотнями ног за сотни лет, и — Валериан наклонился и провёл пальцем — влажными. *Влажными*. На ступенях блестели капли. На стенах рос мох — тёмный, бархатный, зелёный. По углам висела паутина, и в паутине сидел паук — живой, чёрный, мохнатый, который при свете фонаря испуганно поджал лапы.

Валериан смотрел на паука так, как не смотрел, наверное, ни на одно живое существо в жизни.

— Здесь его нет, — сказал он. — Того, серого. Здесь оно не тронуло.

— Почему?

— Не знаю. — Он зажёг фонарь — масляный, маленький, походный, — и поднял его над головой. Свет упал на ступени, уходящие вниз, и на стены — и Валериан увидел, что стены здесь другие. Не такие, как в доме. Не кирпич, не тёсаный камень, а чёрный, гладкий, плотный базальт, без единой трещины, без единого шва, словно лестницу не сложили, а прорезали в цельной скале. Он провёл по стене ладонью. Камень был холодным. И — Валериан замер — едва заметно гудел. Как камни Клыка в Брюхе, о которых говорил Фрар.

— Это старше дома, — сказал он тихо. — Намного старше. Дом построили на этом. На этом погребе. На этой лестнице.

Говорили, место дурное, тут когда-то, ещё до Войны, стояла чья-то башня, и её снесли.

Он достал пистолет. Взял фонарь в левую руку. Поставил ногу на первую ступень.

— Иди за мной. Отставай на три ступени. Если я скажу «назад» — не спрашивай, беги.

— А если вы не скажете?

— Тогда тоже беги.

Они начали спускаться. Лестница вилась вниз — один оборот, второй, третий, — и с каждым оборотом становилось холоднее, и запах алхимии — серы, купороса, озона — становился гуще, и гул нарастал: низкий, ровный, едва слышный, похожий на гудение огромного улья или на дыхание спящего зверя. На четвёртом обороте фонарь начал мигать. На пятом лестница кончилась, и перед ними открылась арка — низкая, тяжёлая, из того же чёрного базальта, — а за аркой темнота.

Валериан поднял фонарь и шагнул под арку.

Внизу был не погреб.

Внизу была лаборатория.

II. Медное сердце

Она занимала огромное помещение — гораздо больше, чем весь дом наверху. Круглый зал с низким куполообразным сводом, вырубленный в цельном базальте, без единой колонны, без единой опоры, — такой правильный, такой гладкий, такой совершенный, словно его не вырубили, а выдули, как стеклодув выдувает шар. Стены уходили вверх плавной дугой и смы-

кались в центре свода, где чернело круглое отверстие — отдушина или окно, давно заложенное. Пол был ровным, тоже базальтовым, и по нему от центра к стенам расходились тонкие бороздки — желобки, вырезанные в камне, — образуя узор, похожий на паутину. Или на корни дерева. Или на ветви.

Валериан узнал этот узор. Он видел его вчера — на старом каменном кресте у развилки.

Вдоль стен стояли машины.

Это были не гномьи машины — Валериан достаточно повидал гномьей работы в мастерской Фрара, чтобы отличить её с первого взгляда: гномы делали всё основательно, грубо, на века, с заклёпками размером с кулак. И не эльфийские — эльфы вообще не любили машин. Это была людская работа. Хорошая, дорогая, столичная людская работа, какую делали в мастерских Срединного Града по заказу Академий и Коллегии. Бронзовые цилиндры высотой в человеческий рост, оплетённые медными трубками, как виноградными лозами. Манометры с треснувшими стёклами, стрелки которых застыли за красной чертой. Стеклянные колбы на штативах — одни пустые, другие с тёмным осадком на дне. Перегонные кубы. Реторты. Тигли. Верстаки, заваленные инструментами, чертежами, свитками, склянками. Полки с книгами. Походная койка у стены, со скомканным одеялом. Медный котелок на спиртовке. Недоеденный кусок хлеба на тарелке.

Хлеб был не серым. Он зачерствел, позеленел по краю — заплесневел. Обычная, живая, честная плесень.

Здесь ничего не было серым.

А в центре зала, точно там, где сходились все бороздки на полу, на низком круглом постаменте из того же чёрного базальта, возвышалась главная установка.

Она была уродлива. Громоздкая, неуклюжая, сварная, склёпанная из разнородных частей, — она походила на огромное медное сердце, вынутое из груди какого-то чудовища: бугристый, бочкообразный корпус в полтора человеческих роста, весь в заклёпках, в швах, в латках, и из него во все стороны, как артерии и вены, расходились трубы — толстые, в руку толщиной, медные, обмотанные просмолённой тканью. Одни трубы уходили вверх, в заложенное отверстие свода. Другие — вниз, в пол, прямо в базальт, в просверленные в нём отверстия, и дальше — в землю, глубоко, туда, где лежали корни сада. На боку корпуса темнела латунная табличка, выбитая чеканом:

«Ахеронское товарищество ирригации и мелиорации. Модель III. Пробная. Не для продажи».

Все трубы были разорваны.

Не перерезаны, не сломаны, не прогнили — разорваны. Изнутри. Края толстой меди были вывернуты наружу, отогнуты, раскрыты, как лепестки цветка, — так, словно что-то, что текло по этим трубам, однажды вдруг потекло в обратную сторону с невообразимой силой и разорвало их, вырываясь наружу. Медь вокруг разрывов почернела. Нет — не почернела. Посерела. Это было единственное серое во всём подвале: тонкие серые ободки вокруг каждого разрыва, словно иней.

А у постамента, прислонившись спиной к медному сердцу машины, сидел человек.

* * *

Он тоже был серым.

Но не так, как те, наверху. Наверху серое было ровным, мягким, спокойным, словно уснувшим. Наверху люди не знали, что умирают. Здесь — нет.

Здесь человек в кожаном алхимическом фартуке, прожжённом в нескольких местах, сидел на полу, вжавшись спиной в медный корпус машины, — вжавшись так, словно хотел уйти в него, спрятаться внутри, — с запрокинутой головой, с широко раскрытым ртом, с вытаращенными глазами. Его ноги были поджаты к груди. Его левая рука была выброшена вперёд,

растопыренные пальцы — словно он отталкивал что-то, заслонялся от чего-то. А вся его поза, всё его тело было одним застывшим, беззвучным, бесконечным криком.

Он увидел. Он единственный во всём Вишнёвом Доле успел увидеть, что происходит. И понять.

Валериан подошёл к нему, поставил фонарь на постамент и присел на корточки. Долго смотрел в серое лицо — немолодое, лет пятидесяти, с аккуратной бородкой клинышком, с высоким лбом, с глубокими морщинами у глаз. Лицо учёного. Лицо человека, привыкшего много думать и мало спать. На носу — очки в тонкой оправе, серые; одно стекло треснуло.

Мастер Корвин. Тихий такой, вежливый, с бородкой клинышком. «Хозяйка, а вы верите, что землю можно вылечить?»

— Кто ты такой? — спросил Валериан вслух. Здесь, в подвале, звук был — его голос отразился от базальтового свода гулким эхом. — Что ты сделал?

Серый человек не ответил.

Его правая рука была сжата в кулак и прижата к груди, к сердцу — так крепко, что костяшки пальцев выпирали острыми серыми буграми. И из кулака, между пальцами, пробивался тусклый отблеск. Не серый. Другой.

Валериан протянул руку. Помедлил. Потом осторожно, очень осторожно, кончиками пальцев, взял мёртвого за запястье.

Рука держалась. Пока. Серая кожа под его пальцами не осыпалась — только чуть-чуть, тончайшим налётом, как пыльца с крыльев бабочки. Он начал разжимать пальцы — один за другим, по одному, медленно, как разжимают пальцы спящему ребёнку, чтобы вынуть из его кулака игрушку. Мизинец. Безымянный. Средний. Серая пудра сыпалась с каждого сустава, оседала ему на колени, на сапоги, — но пальцы не рассыпались. Как будто держались за то, что лежало в ладони, — держались изо всех сил, даже после смерти, даже став прахом.

Указательный.

Большой.

В ладони лежала сфера.

* * *

Она была размером с крупное яблоко. Идеально круглая, гладкая, без единого шва, без единой царапины, без единого изъяна. Сделанная из чего-то, похожего на матовое серое стекло — или на камень, или на очень старый металл, потемневший от времени, — Валериан не мог сказать. Цвет у неё был серый — но это был не тот серый, что наверху. Наверху серое было пустым, плоским, мёртвым — цветом отсутствия. Сфера была серой, как бывает серым грозовое небо, или сталь клинка, или глаза старика: глубоким, плотным, *настоящим* серым. Она отражала свет фонаря тусклым, приглушённым, мягким блеском — как жемчуг. А в её глубине — Валериан наклонился ближе, — если смотреть долго, не мигая, медленно двигалось что-то похожее на дым. Тёмные прожилки, клубы, завитки, — медленно поворачивающиеся, переплетающиеся, расходящиеся, — как тучи на очень далёком небе.

Когда он разжал последний палец, рука алхимика всё-таки не выдержала. Она осыпалась — разом, вся, от кисти до локтя, — беззвучным серым облаком. Сфера, лишившись опоры, скатилась с исчезнувшей ладони и упала бы на базальтовый пол, — Валериан подхватил её.

И чуть не выронил.

Она была *тяжёлой*. Невозможно тяжёлой — вдвое, втрое, вчетверо тяжелее, чем должна быть вещь такого размера. Словно внутри было свинцовое ядро. Нет — тяжелее свинца. Словно внутри было что-то, что не хотело, чтобы его поднимали. Его рука опустилась под её весом, как опускается рука, в которую неожиданно положили гирю. Он перехватил её второй рукой и прижал к груди.

И она была холодной.

Не ледяной — ледяное обжигает, ледяное быстро нагревается в руке. Холодной так, как бывает холоден колодезный камень в жаркий полдень, — глубоким, внутренним, древним холодом, который идёт не снаружи, а изнутри, из самой сердцевины, и который нельзя согреть, сколько ни держи. Этот холод проник сквозь кожу перчаток, сквозь кожу ладоней, в кости, — и кости заныли, как ноют в сырую погоду.

Валериан держал её обеими руками, прижав к груди, и вдруг почувствовал, как холод *меняется*.

Он стоял лицом к машине — к разорванным трубам, уходящим в пол. Он медленно повернулся спиной к ней, лицом к лестнице, — и сфера потеплела. Не стала тёплой — нет, никогда, — но холод ослабел, отступил, словно сфера вздохнула с облегчением. Он повернулся обратно, лицом к машине, к разорванным трубам, к серым ободкам вокруг разрывов, — и холод вернулся. Сильнее прежнего. Так, что заныли не только пальцы, но и запястья, и локти, и где-то глубоко в груди заныло сердце.

Он сделал шаг к машине. Холоднее. Ещё шаг. Ещё холоднее. Он поднял сферу к разорванной трубе — к серому ободку вокруг разрыва — и сфера стала такой холодной, что он охнул и отдёрнул руки.

— Ты чувствуешь, — сказал он тихо, глядя в её дымную глубину. — Ты чувствуешь, где мёртвое. Где *это*.

Сфера молчала. Дым в её глубине медленно поворачивался, словно она прислушивалась.

* * *

За воротником зашевелилась Клик.

Всю ночь и всё утро она не вылезала — сидела у самой шеи, сжавшись в комок, и только изредка, когда он поворачивался, вздрагивала. А теперь высунула мордочку, посмотрела на сферу — и её голубые глаза, потускневшие со вчерашнего вечера, вдруг вспыхнули ярко, как не вспыхивали никогда. Она уставилась на сферу, не мигая, и вдруг застучала по пряжке воротника — так быстро, так сбивчиво, так беспорядочно, что Валериан не разобрал ни слова. Это было похоже не на код, а на дрожь. На лепет. На то, как бормочет человек во сне.

— Медленнее, — сказал он. — Клик. Медленнее.

Мышь замерла. Потом снова застучала — медленно, раздельно, с паузами между словами:

«Старое».

«Очень старое».

«Не наше».

— Что значит — не наше? Не из Коллегии? Не из Империи?

«Не людское. Не эльфье. Не гномье».

Пауза. Долгая.

«Я его знаю».

Валериан опустил глаза на мышь.

— Знаешь? Откуда?

Клик не ответила. Она смотрела на сферу, и голубые огоньки в её глазах мерцали — то ярче, то тусклее, — как мерцает свет маяка в тумане. Потом она медленно, словно нехотя, выстучала:

«Не помню. Знаю — и не помню. Как запах из детства».

И спряталась обратно за воротник.

Валериан долго стоял неподвижно, держа сферу обеими руками у груди. Гаспар, всё это время стоявший под аркой с пистолетом наготове, кашлянул.

— Господин инспектор?

— Да.

— Что это за штука?

— Не знаю, Гаспар.

Это была правда. Он не знал. Но он знал другое: что сфера в его руках была единственным предметом во всём Вишнёвом Доле, который выжил. Нет — не выжил. Который *держался*. Который не дал тому, серому, войти в этот подвал. Может быть. Может быть, именно поэтому здесь пахло, и звучало, и жил паук на лестнице, и плесневел хлеб. Может быть, именно поэтому мастер Корвин сжимал её в кулаке так, что даже прах не мог её отпустить.

Или наоборот. Может быть, она и была причиной.

Валериан не знал.

Он медленно, очень медленно — словно его руками двигал кто-то другой — завернул сферу в свой носовой платок, клетчатый, выцветший, пахнущий табаком, и положил во внутренний карман плаща. Туда, где лежали бумажки, которые однажды могли бы пригодиться.

Сфера прижалась к его груди тяжёлым холодным комком.

И ему показалось — только показалось, конечно, — что она прислушивается к стуку его сердца.

III. Журнал мастера Корвина

Пока Гаспар обходил подвал с фонарём, держась подальше от машины, Валериан занялся верстаками.

Это была его работа — бумаги. Он любил бумаги так, как другие любят женщин или вино: с нежностью, с терпением, с азартом. Люди лгут; бумаги — нет. Люди забывают; бумаги помнят. Люди умирают; бумаги остаются. Даже ложь, записанная на бумаге, говорит правду — о том, кто лгал, и зачем, и чего боялся. Магистр Фаэ, его старый учитель в курсантской школе, говорил: «Мёртвого не допросишь, но его счета допросить можно». Валериан помнил это двадцать лет.

Верстаков было три. На первом — инструменты: щипцы, тигли, весы с набором гирек, ступки, пестики, паяльники, напильники, свёрла, лупы, — всё аккуратно разложено по местам, как у человека, который ценит порядок. На втором — склянки, колбы, реторты, пробирки в штативах, ящички с порошками, подписанные мелким аккуратным почерком: «Купорос голубой», «Ртуть очищенная», «Соль Ахеронская», «Пыль кристаллическая, синяя, гномья», «Земля валларийская, верхний слой», «Земля валларийская, слой глубинный, VI локоть». На третьем — бумаги.

Бумаг было много. Чертежи на больших листах плотной бумаги, приколотые к доске медными кнопками. Свитки с расчётами — бесконечные колонки цифр, формулы, графики. Письма — связка писем, перевязанная бечёвкой. И журнал.

Вернее, то, что от него осталось.

Журнал лежал не на верстаке, а в железной жаровне рядом — маленькой, переносной, на трёх ножках, в каких алхимики греют тигли. Кто-то пытался его сжечь. Толстая тетрадь в кожаной обложке была свёрнута, смята, брошена в угли — и угли догорели, а тетрадь не догорела. Может быть, жаровня погасла. Может быть, у того, кто её жёг, не хватило времени. Обложка обуглилась, края страниц почернели и рассыпались, середина спеклась в плотный ком, — но кое-что уцелело. Несколько листов в начале. Несколько — в конце. Обрывки, клочки, обгорелые полосы с половиной строк.

Валериан достал из кармана пинцет — тонкий, стальной, судейский — и начал вынимать листы. По одному. Медленно. Расправляя их на верстаке, придавливая края гирьками от весов. Гаспар, вернувшись с обхода, молча встал рядом и держал фонарь.

Почерк был тот же, что на ящичках с порошками: мелкий, аккуратный, наклонный, с длинными петлями у «д» и «у». Почерк учёного, привыкшего писать много и быстро, но не

позволяющего себе небрежности. Чернила — коричневые, железные. Кое-где — пятна, похожие на кофе. Кое-где — капли воска.

Первые листы были датированы прошлой осенью.

«…15 листопада 499. Прибыл в Вишнёвый Дол. Лорд В. принял любезно. Сад действительно болен — нижние террасы мертвы на шестую часть. Лорд думает, что это гниль корней. Я не стал его разубеждать. Это не гниль. Пробы земли с нижних террас: остаточной силы — ноль. Не мало — ноль. Земля пуста, как выеденная скорлупа. Это то же самое, что в Марках. То же самое, что в Ахеронском Доле. То же, что мы видели на картах в Отделе. Значит, дошло и сюда».

«…22 листопада. Нашёл то, о чём писал Хальвар. Лорд В. показал мне погреб под кухней — говорит, его прадеды держали тут вино. Это не погреб. Это зал. Базальт. Северная работа — такой камень есть только у Клыка. Узор на полу — тот же, что на крестах у развилок. Хальвар был прав: здесь стояла башня. Одна из Его башен. Сторожевая. Их было много по всему Долу — их снесли после Победы, а кресты поставили на их месте, чтобы "освятить" землю. Невежды. Они не освящали. Они хоронили».

Валериан перечитал последние строки дважды. *Одна из Его башен.* С большой буквы. Он не стал читать вслух. Он перевернул лист.

Следующие листы были почти целиком сожжены. Обрывки:

«…если Оазис забирает — значит, можно и вернуть. Обратный ток. Тот же насос, та же схема, но клапаны наоборот. Вместо того чтобы тянуть из земли — отдавать ей. Вопрос лишь в том, откуда брать то, что отдаёшь…»

«…О. не должен знать. Если Отдел узнает, что я забрал Модель III…»

«…сфера найдена в нише в центре свода, за заложенным окном. Не трогал её три дня. Боялся. На четвёртый взял. Она холодеет у мёртвой земли. Она ЧУВСТВУЕТ. Это не прибор — это орган. Глаз. Его глаз. Он оставил здесь глаз, чтобы смотреть за…»

Дальше — чёрное пятно. Валериан долго смотрел на него, словно мог прочесть сквозь копоть.

Его глаз.

Он машинально прижал ладонь к груди, к внутреннему карману, где лежала сфера. Она была холодной.

Последние уцелевшие листы были из конца журнала. Почерк здесь изменился — стал крупнее, неровнее, торопливее, строчки налезали одна на другую, буквы падали вправо, как люди, бегущие против ветра.

«…1 цветеня 500. Опыт завтра. Лорд В. настаивает на Цветении — хочет, чтобы гости видели, как оживает сад. Я уговорил отменить. Если опыт не удастся — гостей не должно быть. Если удастся — будет следующий год. Мне страшно. Хальвар писал: "Не трогай то, что держит. Ты не знаешь, что держит и что оно держит". Но если ничего не делать — всё равно умрёт. Всё. Медленно, но умрёт. Сад, Валлария, Империя. Отдел знает и ничего не делает. Нет — делает. Делает хуже. Они пьют то, что осталось. Они высасывают остатки, как пиявки из умирающего. Я видел Обитель. Я видел трубы. Я больше не могу».

«…2 цветеня, вечер. Запускаю. Обратный ток — восемнадцать единиц на клапан. Медленно. Очень медленно. Если земля примет…»

«…она не принимает. Она не принимает. Она тянет. Она тянет НАЗАД. Ток разворачивается. Клапаны не держат. Это не земля тянет — это то, что ПОД землёй. Под садом. Под Ним. Под всеми нами. Я открыл дверь. Я думал, что открываю кран, а я открыл ДВЕРЬ. Оно идёт вверх по трубам. Оно идёт…»

Последняя строка была написана поперёк страницы, наискосок, огромными, рваными буквами, продавившими бумагу насквозь:

«ДА ПРОСТИТ МЕНЯ ТОТ, КТО ДЕРЖАЛ НЕБО».

И больше ничего.

* * *

Валериан стоял над верстаком и смотрел на эту строку очень долго.

В подвале было тихо. Гудела где-то в глубине машина — не разорванное медное сердце, а что-то другое, под полом, под базальтом, — ровным, низким, едва слышным гулом. Капала вода со свода. Гаспар дышал у него за плечом — тяжело, с присвистом.

— Кто это? — спросил наконец Гаспар. — Который держал небо?

— Не знаю.

— А О.? «О. не должен знать»?

Валериан не ответил.

Олдрик подписывался одной буквой. Об этом знали все в Коллегии. Но мало ли в Империи людей, чьё имя начинается на «О»? Оттон. Орландо. Освальд. Офелия. Старый Огюст, торговец рыбой с Третьего шлюза. Мало ли.

«Если Отдел узнает». Какой Отдел? Особый. Валериан никогда не слышал об Особом отделе Коллегии — но двадцать лет в Коллегии научили его: если ты о чём-то не слышал, это не значит, что этого нет. Это значит, что тебе не положено слышать.

«Если Оазис забирает». Оазис. Что такое Оазис? Мёртвые Оазисы — так в Брюхе называли серые пятна, о которых шептались беженцы из провинций. Мёртвые Оазисы. Но здесь — с большой буквы. Как имя. Как название.

«Я видел Обитель. Я видел трубы». Обитель. Тихая Обитель — исправительный дом Коллегии за городской стеной, на северном берегу Ахерона, куда отправляли должников, бродяг, мелких воров и магов без лицензии. Валериан сам отправил туда десятки людей. Он никогда там не был. Туда никто не ездил — туда только отправляли.

Они пьют то, что осталось.

Дым его самокрутки — он не помнил, когда успел закурить, — медленно поднялся над верстаком и начал складываться. Не в вопросительный знак. В фигуру. Сначала — круг. Внутри круга — линии, расходящиеся от центра, как спицы колеса. Как бороздки на базальтовом полу. На концах линий — маленькие кружки. Пять. Шесть. Семь. Десять. Двадцать. Кружки соединялись тонкими нитями — друг с другом, с центром, с чем-то за пределами круга, — и вся фигура становилась похожей на паутину. Или на сеть. Или на корневую систему огромного дерева, раскинутую под землёй.

А в центре сети — пустой круг.

Валериан смотрел на эту фигуру, пока она не растаяла — здесь, в подвале, дым таял, как положено.

Потом он аккуратно, пинцетом, один за другим, сложил уцелевшие листы журнала в стопку, переложил их чистой бумагой из ящика на верстаке, завернул в клеёнку, которую нашёл там же, перевязал бечёвкой — и спрятал во внутренний карман плаща, рядом со сферой. Связку писем с верстака — тоже. Один чертёж — тот, на котором была изображена схема медного сердца с подписью «Модель III, обратный ток», — свернул в трубку и сунул за голенище сапога.

Гаспар смотрел на это молча. Он не спросил, будут ли они вносить это в опись. Валериан был ему за это благодарен.

— Господин инспектор, — сказал Гаспар вместо этого. — Тот, кто пытался сжечь журнал. Это ведь был не он? — Он кивнул на серую фигуру у постамента. — Он бы не успел. Он сидел здесь, когда это пришло.

Валериан посмотрел на жаровню. Угли в ней были холодными, давно остывшими. Но на краю жаровни, на тонком слое пепла, остался отпечаток — половина отпечатка сапога. Узкого. С острым носом.

Такие же следы он видел вчера на дороге у креста.

— Нет, — сказал он. — Это был не он.

Гаспар долго смотрел на отпечаток. Потом очень тихо сказал:

— Они спускались сюда. Позавчера. И не нашли сферу. Потому что она была у него в кулаке. А кулак…

— А кулак рассыпался бы, если тронуть, — сказал Валериан. — И они не тронули. Побоялись. Или не догадались. Сожгли журнал — и убежали.

— А мы тронули.

— А мы тронули.

Они посмотрели друг на друга в свете фонаря. И в эту минуту сверху, с лестницы, из глубины базальтового колодца, донеслись шаги.

IV. Лира

Шаги были лёгкие, быстрые и решительные.

Не сапоги с острыми носами — те ступали бы осторожно, мягко, как ступают люди, привыкшие ходить неслышно. Эти шаги не прятались. Они стучали по каменным ступеням торопливо, неровно, иногда спотыкаясь, иногда перескакивая через ступень, — так спускается человек, который бежит и не думает о том, слышат ли его. И сопровождались они светом — не масляным, жёлтым и дрожащим, как у их фонаря, а голубоватым, ровным, холодным. Эфирным. Свет плясал по базальтовым стенам винтовой лестницы, приближаясь с каждым оборотом.

Валериан задул свой фонарь, отступил в тень за верстак и поднял пистолет. Гаспар — за бронзовый цилиндр у стены.

Шаги остановились у арки. Свет тоже.

— Ни с места, — сказал голос с лестницы. Женский. Молодой. — У меня самострел. Заряжен. И я знаю, куда целиться.

Голос дрожал. Но Валериан, двадцать лет слушавший, как дрожат голоса, сразу понял: не от страха. От ярости. От горя. От того, что человек держится из последних сил и вот-вот сорвётся, — и именно поэтому выстрелит, не задумываясь.

— Я знаю, что вы там, — сказал голос. — Я видела свет. Выходите. Медленно. Руки так, чтобы я видела.

Валериан помедлил одно мгновение. Потом опустил пистолет, сунул его за пояс, вышел из-за верстака на открытое место и поднял руки — пустыми ладонями вперёд.

— Не стреляйте, — сказал он. — Я из Коллегии.

— Это ещё не повод не стрелять, — сказал голос.

Она спустилась в зал — и Валериан увидел её.

* * *

Ей было лет двадцать шесть, может, двадцать семь. Высокая — почти с него ростом, — худая, угловатая, с прямой спиной и резкими движениями. Дорожное платье из тёмно-зелёной шерсти, практичное, без украшений, забрызганное грязью до колен, — она явно бежала часть пути, и бежала по раскисшей дороге. Поверх платья — короткая кожаная куртка, какие носят учёные Академии в полевых экспедициях, с множеством карманов, из которых торчали стеклянные пробирки, карандаши, свёрнутые бумаги. На поясе — эфирный фонарь учёного образца, маленький, латунный, с голубым кристаллом, — он и светил. Через плечо — тяжёлая кожаная сумка.

Русые волосы, когда-то, наверное, уложенные в аккуратный узел, выбились из-под дорожной шляпки и прилипли ко лбу, к щекам, к шее мокрыми прядями. Лицо — тонкое, с высокими скулами, с упрямым подбородком, с тем же разлётом бровей, что у серого человека на портрете в прихожей, у основателя рода. И у человека за столом, который поднимал бокал.

Глаза — серо-зелёные, огромные, сухие, красные по краям. Лицо было мокрым — от мороси или от слёз, а скорее всего, от того и другого, — но глаза были сухими.

В руках она держала самострел — короткий, лёгкий, дамский, с ложем из светлого дерева и стальной дугой, какие продавали в Срединном Граде для охоты на уток и для самозащиты от грабителей. Болт был взведён. Наконечник смотрел Валериану точно в грудь — точно туда, где лежала сфера, — и не дрожал.

— Кто вы такие? — спросила она. — Что вы здесь делаете? — И потом, другим голосом, тише, ломко: — Где мой отец?

Валериан медленно опустил одну руку, отвёл полу плаща и показал жетон Коллегии — бронзовый, с весами, с номером.

— Старший инспектор Коллегии Равновесия Валериан, — сказал он. — Это сержант Кнелл. — Гаспар вышел из-за цилиндра, тоже с поднятыми руками, огромный, растерянный, со своими пышными усами. — Мы приехали из столицы. По донесению пристава из Лиссы. — Он помолчал. — Вы — дочь лорда Веллора.

Это был не вопрос. Он узнал её — по бровям, по подбородку, по глазам. И по конверту в нагрудном кармане серого человека за столом наверху. «Леди Лире Веллор. Не отправлено».

— Лира Веллор. — Самострел дрогнул, но не опустился. — Я была в Актавиуме. В Ботанической академии. Я там… я там работаю. Три дня назад мне пришла телеграмма. Пневмопочтой, в Академию, на моё имя. Одно слово: «Приезжай». Подписи не было. Обратного адреса не было. Ничего не было. Просто — «приезжай». — Её голос сорвался. — Я поехала первым же поездом. В Лиссе мне сказали… мне ничего не сказали. Все отворачивались. Кузнец не дал лошадь. Я шла пешком. Я поднялась на холм и увидела… — Она замолчала. Самострел опустился на дюйм. — Где мой отец, инспектор?

Валериан встречал много дочерей, сыновей, жён, мужей и матерей, задававших ему этот вопрос. Сотни. В участках, в мертвецких, на порогах домов, в подворотнях Брюха, у решёток шлюзов. Он давно научился отвечать на него — ровно, коротко и правдиво, глядя в глаза, без утешений, без лишних слов. Так было милосерднее. Ложь и жалость только продлевали муку. Правда била один раз — но сразу.

Но сейчас, глядя на эту девушку с самострелом, с мокрым лицом и сухими глазами, он вдруг понял, что не знает, как сказать ей правду.

Потому что правда была такой, что её нельзя было сказать. Не было слов. «Ваш отец мёртв» — это было неправдой: он не был мёртв так, как бывают мёртвыми мёртвые. «Вашего отца нет» — тоже неправда: он был, он сидел наверху, за столом, с бокалом в руке. «С вашим отцом случилось несчастье» — это было бы оскорблением.

— Наверху, — сказал он наконец. — В столовой. Все — в столовой. — Он помолчал. — Леди Веллор… Не ходите туда одна. Пожалуйста.

Она смотрела на него долго — секунду, две, три. В её глазах что-то мелькнуло — понимание, ужас, отказ понимать. Потом она опустила самострел.

И пошла к лестнице.

Он не стал её останавливать. Он знал — по опыту, по сотням таких же минут, — что её нельзя остановить. Что ей нужно увидеть самой. Что, если не увидит, — не поверит, никогда, до конца жизни будет надеяться, и надежда эта съест её изнутри, как серое съело сад.

Её шаги простучали по ступеням вверх — сначала быстро, потом медленнее, потом ещё медленнее. Голубой свет её фонаря поплыл вверх по стенам винтовой лестницы и исчез.

* * *

Валериан стоял у подножия лестницы и ждал.

Гаспар, кашлянув, отошёл в дальний угол подвала, к бронзовым цилиндрам, и принялся с преувеличенным, неестественным вниманием рассматривать манометры — постукивал паль-

цем по треснувшим стёклам, хмыкал, качал головой. Это была деликатность. Неуклюжая, медвежья, каменотёсская деликатность. Валериан был ему благодарен.

Он ждал.

Он не знал, сколько прошло — пять минут, десять, пятнадцать. Время в подвале текло как-то иначе: медленно, вязко, как смола. Гудело что-то под полом. Капала вода со свода. Тикали часы на руке — карманные, серебряные, отцовские; он вынул их, посмотрел, убрал, снова вынул.

Сверху не доносилось ни звука. Ни крика, ни плача, ни шагов. Там, наверху, звуков не было.

Он думал о том, что она сейчас видит. Отца с бокалом. Тётку с солонкой. Двух братьев — старший что-то объясняет, младший смеётся. Сестру с косами и вишней на ложке. Горничную, которая краснеет. Записку на тарелке: «Папе. Открыть после ужина». Часы, остановившиеся на девяти сорока. Он думал о том, что она, наверное, протянет руку — не сможет не протянуть, — и коснётся. Отца. Или сестры. И увидит, как они осыпаются.

Он надеялся, что она не протянет руку. Он знал, что протянет.

Чтобы не думать, он достал из кармана связку писем, взятую с верстака, и развязал бечёвку.

Писем было девять. Все — от одного человека, на плотной серо-коричневой бумаге, какую делают не в Империи, а в горах, из толчёного камня и древесной коры. Почерк — угловатый, тяжёлый, рубленый, с нажимом, словно каждую букву не писали, а высекали. Имперские слова, но порядок слов чужой, непривычный, как у человека, который думает на другом языке. И подпись в конце каждого письма — не имя, а знак: руна Дурката, похожая на молот, опущенный на наковальню, а под ней мелко, по-имперски: «Хальвар».

Гном.

Валериан читал при свете Гаспарова фонаря, вполглаза, урывками, прислушиваясь к тишине наверху.

«…ты спрашиваешь, Корвин, про кресты. Наши старики знают. Кресты ставили на места Его башен. Башен было сорок по Долу и по Валлариш. Каждая — узел. Каждая держала нить. Когда башни снесли, нити оборвались, но корни остались. Корни в земле живут долго. Пятьсот лет — для корней немного. Теперь корни умирают. Вот почему земля пустеет пятнами, а не вся сразу: пятно — это там, где умер корень…»

«…не трогай то, что держит. Ты не знаешь, что держит и что оно держит. Наш Совет тоже не знает. Наш Совет давно забыл. Помнят только те, кого Совет выгнал. Я — из выгнанных. Мой брат по изгнанию держит часовую лавку в вашем городе, в нижнем ярусе. Он слушает камни. Если тебе нужно — найди его. Скажи: от Хальвара, который помнит чертежи…»

Валериан перестал читать и долго смотрел на последнюю строчку.

Часовую лавку в нижнем ярусе. Он слушает камни.

Фрар. «Изгнан за то, что прислушивался к камню без дозволения».

Он сложил письма обратно, перевязал бечёвкой и спрятал в карман. Руки у него были холодными — от сферы, от подвала, от того, что он только что прочитал. Мир, который ещё вчера утром был огромным, запутанным и бессмысленным, вдруг сжался до размеров часовой мастерской на Канатной улице, — и это было страшнее, чем если бы он оставался огромным.

Клик за воротником тихо, едва заметно, выстучала по пряжке одно слово:

«Жалко».

Валериан ничего не ответил. За двенадцать лет мышь ни разу не говорила этого слова. Он не знал, что она его знает.

Потом наверху, на лестнице, снова показался голубой свет.

V. Та, что помнит

Она спускалась медленно. Ступень за ступенью. Держась одной рукой за базальтовую стену, словно боялась упасть. Самострел висел у неё на плече, забытый. Фонарь на поясе светил вниз, ей под ноги, и в его голубом свете её лицо было белым и неподвижным, как маска из воска.

Она не плакала. Лицо её было сухим — совсем сухим, словно все слёзы, которые были на нём, когда она спускалась первый раз, высохли разом, выгорели, испарились. Глаза — сухие и очень большие. Губы сжаты в тонкую линию. Руки — Валериан посмотрел на её руки и сразу отвёл глаза. На кончиках пальцев правой руки лежала серая пудра.

Она протянула руку. Он знал, что протянет.

Она прошла мимо него, не взглянув. Прошла через весь подвал — мимо верстаков, мимо колб и реторт, мимо бронзовых цилиндров, мимо Гаспара, который выпрямился и замер, как часовой, — и остановилась перед главной установкой. Перед медным сердцем с разорванными артериями. Долго смотрела на латунную табличку. Потом опустила глаза — на серую горку праха у подножия постамента. На то, что осталось от мастера Корвина, сидевшего здесь, вжавшись в металл, с безмолвным криком на лице. Он почти весь рассыпался — после того как Валериан забрал сферу. Остались только ноги, поджатые к груди, и часть спины, и голова с открытым ртом. Серая. Безглазая.

— Кто это был? — спросил Валериан тихо. Он не хотел спрашивать сейчас. Но знал, что потом она не скажет.

— Не знаю. — Её голос был ровным. Пугающе ровным. Голосом человека, который несёт в руках что-то очень хрупкое — может быть, самого себя — и боится уронить. — Никогда его не видела.

— Хозяйка гостиницы в Лиссе назвала его мастером Корвином.

— Корвин. — Она повторила имя медленно, словно пробуя на вкус. — Нет. Не знаю такого. — Пауза. — Отец писал мне зимой. В феврале. Что купил новое оборудование. Для мелиорации. Что нашёл людей, которые обещали «вернуть почве силу». Он был так рад… Он писал, как мальчишка, получивший новую игрушку. Три страницы. С рисунками. — Она коснулась латунной таблички кончиками пальцев — тех самых, на которых лежала серая пудра. — «Ахеронское товарищество ирригации и мелиорации». Я никогда о них не слышала. А я в Академии знаю всех, кто занимается почвами. Всех. Нас двенадцать человек на всю Империю, инспектор, — двенадцать учёных, которые всерьёз изучают, почему земля в Валлории слабеет. Я знаю каждого. Каждую лабораторию. Каждую контору, которая продаёт удобрения, насосы, оросительные трубы. Такого товарищества нет. Его не существует.

— Вы писали отцу об этом?

— Писала. — Она наконец повернулась к нему. — Он не ответил. Впервые в жизни не ответил на письмо. А в марте пришло другое — короткое. Что Цветения в этом году не будет. Что деревья болеют. Что он будет занят опытами. И чтобы я не приезжала. — Её губы дрогнули. — «Не приезжай, Ли. Здесь сейчас не до праздников. Приезжай летом, когда всё наладится». Летом. Он писал — летом.

Она замолчала.

Валериан думал о конверте в нагрудном кармане серого лорда за столом наверху. «Леди Лире Веллор. Не отправлено». Он не сказал ей. Он не знал, нужно ли говорить. Конверт был серым. Если его тронуть — он рассыплется. Если она узнает, что там лежит неотправленное письмо, адресованное ей, — она протянет руку. И оно рассыплется у неё в пальцах, и она никогда не узнает, что там было, и будет помнить это до конца жизни.

Он не сказал.

— Отец никогда не пропускал Цветения, — сказала Лира, глядя куда-то мимо него, в темноту подвала. — Никогда. Ни разу за всю жизнь. Даже когда умерла мама — это было весной, за неделю до Цветения, — он открыл ворота. Он сказал: «Мама бы хотела». И стоял под Старой Вишней в чёрном сюртуке вместо белого и поднимал бокал. «За тех, кто посадил, и за тех, кто сохранил». Я помню. Мне было девять. — Она помолчала. — Двести лет, инспектор. Нет — пятьсот, если считать от Гаэля. Пятьсот лет каждую весну Веллоры открывали ворота. Мой прадед начал приглашать всю Валларию — до него звали только соседей. Это был… это был единственный день в году, когда отец смеялся. По-настоящему. Запрокинув голову. Как Тео.

— Тео?

— Мой младший брат. — Она закрыла глаза. — Он смеялся. Там, наверху. Он смеётся.

* * *

Она открыла глаза и посмотрела на Валериана — прямо, впервые за весь разговор, — и он увидел в её взгляде то, чего не ожидал увидеть. Не горе — горе было, конечно, огромное, как море, но оно было глубоко, под поверхностью. Не страх. Не растерянность. Вопрос. Острый, холодный, упрямый вопрос учёного, который видит явление и хочет понять.

— Что *это*, инспектор? — спросила она. — Вы ведь видели. Вы были там до меня. Вы из Коллегии — вы должны знать. Это болезнь? Яд? Проклятие? Запретная магия? Что убило мою семью — так? Чтобы они просто… — Её голос впервые сорвался, но она тут же взяла себя в руки. — Чтобы они просто остались сидеть? Что это?

Валериан посмотрел на неё — на учёную, на ботаника, на дочь лорда, на единственного живого человека из рода Веллоров, на единственного человека в этом мёртвом доме, который мог бы понять больше, чем он сам, — и ответил так честно, как только мог:

— Я не знаю, леди Веллор.

Она ждала продолжения. Он продолжил:

— Я двадцать лет служу в Коллегии. Я видел всё, что умеют делать люди друг с другом. Я видел запретную магию, которую не показывают курсантам. Я видел, что делает с человеком кристаллическая лихорадка, и серые лёгкие, и проклятие крови, и гномий огненный порошок. Я думал, что видел всё. — Он помолчал. — И я впервые в жизни не знаю. Моя мышь — а она умнее меня — тоже не знает. Она говорит, там ничего нет. Совсем ничего. Даже пустоты. Дыра.

— Мышь? — переспросила Лира.

Клик высунула мордочку из-за воротника и посмотрела на неё голубыми огоньками глаз. Лира смотрела на мышь, мышь на Лиру. Потом Клик медленно, словно нехотя, вылезла целиком, спустилась по рукаву Валериана на его ладонь, а с ладони — Валериан не успел её остановить — перебралась по воздуху, по протянутой руке, на рукав Лиры. И, взбежав к её плечу, ткнулась латунной мордочкой ей в щёку. Туда, где высохли слёзы.

Лира не отшатнулась. Она замерла.

Клик выстучала по пуговице её куртки что-то короткое. Лира, конечно, не знала кода. Но Валериан знал.

«Помни».

Мышь вернулась к нему так же быстро, как ушла, и спряталась за воротник. Валериан стоял ошарашенный. За двенадцать лет Клик ни разу не подходила ни к кому, кроме него. Даже к Фрару.

Лира медленно подняла руку и коснулась щеки, там, где её коснулась мышь.

— Она… что-то сказала?

— Она сказала: «Помни».

Лира долго молчала.

— Я помню, — сказала она наконец. И вдруг заговорила — быстро, ровно, глядя в темноту, как будто читала по невидимой книге: — Нижняя терраса, у реки, — «Валларийская

ранняя», двести деревьев, цветёт в первую неделю цветеня, белым. Вторая терраса — «Сердце Гаэля», сто восемьдесят деревьев, тёмные ягоды, почти чёрные, цветёт розовым. Третья — «Слёзы Лиссы», мелкая, кислая, для наливок, цветёт позже всех, в конце месяца, бледно-лиловым. Четвёртая — смешанная, отец ставил там опыты с привоями. Пятая — молодые, ещё не плодоносили, их посадили, когда я уехала в Академию. Аллея — сто двадцать шесть деревьев, все разные, каждое посадил кто-то из Веллоров в год своего рождения. Моё — сорок третье слева. Тео — сорок пятое. Старая Вишня цветёт первой, всегда, на день раньше всех, и в год, когда родилась я, она цвела девять дней вместо семи. Отец говорил, это знак. — Она вздохнула. — Я помню, что здесь цвело в каждую неделю каждого месяца. Я помню, как пахла каждая терраса. Я помню, какой звук бывает, когда ветер идёт по аллее в цвету, — как будто шёпот. Я помню всё. Отец говорил, у меня в голове живёт весь сад. Он смеялся: «Если сад когда-нибудь погибнет, Ли, ты сможешь посадить его заново по памяти».

Она замолчала. Её губы задрожали — в первый раз — и она закусила их.

— Если вам понадобится кто-то, кто помнит, — сказала она, — найдите меня. Ботаническая академия, Срединный Град, лаборатория почв, третий этаж. Лира Веллор. Я буду там. Мне больше негде быть.

Она поднялась по лестнице, не оглядываясь. Голубой свет её фонаря поплыл вверх по базальтовым стенам и исчез.

* * *

Валериан остался в подвале — со своим погасшим фонарём, с разорванной медной машиной, с серым прахом у её подножия, с обгоревшими листами журнала в кармане и со сферой, которая холодной тяжестью лежала у его сердца.

Он долго стоял неподвижно.

Из угла, от бронзовых цилиндров, подал голос Гаспар — осторожно, негромко, словно боялся спугнуть:

— Господин инспектор.

— Да.

— А ту штуку… Которую вы взяли у мертвеца из руки. Круглую. — Сержант помедлил. — Её в опись вносить? И бумаги — тоже?

Валериан долго молчал. Он думал о первой статье Устава. *Всякое знание, способное нарушить равновесие, есть знание опасное и подлежит хранению*. Он думал об отпечатке узкого сапога на краю жаровни. О тех, кто спустился сюда позавчера, нашёл журнал, попытался его сжечь — и сбежал, не тронув мёртвую руку. О том, что если внести сферу в опись, она отправится наверх, в Шпили, в хранилища Коллегии. Туда же, куда уходили все его дела последние годы. Как вода в песок.

Хранению. Не уничтожению, Валериан. Хранению.

— Утром, — сказал он наконец.

Гаспар кивнул и больше ни о чём не спрашивал.

Глава пятая

ТИХИЕ БУМАГИ

Не спрашивай, куда девались книги, — спроси, кто их унёс. Не спрашивай, кто их унёс, — спроси, кто ему платит. Не спрашивай, кто ему платит. В Актавиуме это одно и то же.

— Поговорка Брюха

I. Пристав Тибо Марк

Они ушли из Вишнёвого Дола на рассвете следующего дня, пешком, по той же дороге, по которой пришли.

Валериан шёл первым и не оглядывался. Он знал, что если оглянется — увидит Старую Вишню над прудом, серую, огромную, в полном цвету, и будет искать глазами на её вершине зелёный лист, и не найдёт, и будет искать снова. Гаспар шёл позади и тоже не оглядывался. Он нёс оба саквояжа и молчал — молчал всю дорогу, все десять миль, — и только когда они перевалили через холм и на старом каменном кресте у развилки снова появился зелёный мох, остановился, поставил саквояжи на землю, сел на обочину и долго сидел, опустив голову на руки.

Валериан стоял рядом и курил. Дым поднимался вверх, к небу, — живой, лёгкий, обычный, — и таял, как положено. Где-то в долине куковала кукушка. Где-то лаяла собака. Ветер шёл по траве.

— Простите, господин инспектор, — сказал наконец Гаспар, не поднимая головы. — Сейчас. Минуту.

— Сколько нужно.

— Я всё думаю про девочку. С косами. С ложкой. — Гаспар потёр лицо огромными ладонями. — Ей тринадцать было. Как моей Лизе будет через пять лет. И я думаю: а если оно придёт к нам? В Кирпичный переулок? Вечером, когда мы ужинать сядем? Я буду хлеб резать, Марта — суп разливать, младшая — болтать ногами под столом… и раз. И всё. И мы так и останемся. И никто даже не заметит, что мы умерли. — Он поднял на Валериана красные глаза. — Это ведь может прийти куда угодно, да? Не только в сады?

— Не знаю, Гаспар.

— Вы всё время говорите «не знаю».

— Потому что я не знаю.

Гаспар помолчал. Потом встал, поднял саквояжи и пошёл дальше.

* * *

В Лиссу они пришли к полудню.

Городок жил своей обычной жизнью — или делал вид, что живёт. На площади у часовни торговали молоком, творогом и первой зеленью. Пекарь выставил на прилавок свежие караваи. У колодца судачили женщины с вёдрами. Кузнец бил молотом по подкове, и звон разносился по всей площади. Всё было как всегда. Только люди, когда видели Валериана и Гаспара — двух чужаков в мокрых плащах, пришедших пешком со стороны Вишнёвого Дола, — замолкали, отворачивались, отходили в сторону. Женщины у колодца разом подняли вёдра и разошлись. Пекарь опустил ставню.

Ода сидела на ступеньке часовни — так же, как три дня назад. С той же свистулькой-птичкой в руках. Кто-то из соседок поставил рядом с ней кружку молока и положил ломоть хлеба на чистой тряпице. Молоко стояло нетронутым, и на его поверхности уже плавала муха.

Контора пристава стояла у моста через Лиссу — двухкомнатный домик из серого камня, с медной табличкой у двери: «Пристав провинциальной стражи, округ Лисса». Табличка была начищена до блеска. Окна — закрыты ставнями. Дверь — заперта.

Валериан постучал. Подождал. Постучал снова — громче. Тишина. Потом за дверью что-то скрипнуло, зашуршало, звякнула цепочка — и в узкую щель выглянул глаз. Бегающий, красный, испуганный.

— Кто?

— Старший инспектор Коллегии Равновесия. По вашему донесению.

Глаз долго смотрел на него. Потом на Гаспара. Потом снова на него. Потом цепочка звякнула ещё раз, и дверь открылась — ровно настолько, чтобы протиснуться боком.

* * *

Пристава звали Тибо Марк, и он боялся.

Это был маленький пухлый человечек лет пятидесяти, в потёртом мундире провинциальной стражи с потускневшими пуговицами, с редкими волосами, зачёсанными поперёк лысины, и с бегающими глазами, которые ни на чём не задерживались дольше мгновения. Небритый — дня три, не меньше. Мундир застёгнут не на те пуговицы. На столе — пустая бутылка из-под сливовой настойки и вторая, начатая. В комнате пахло перегаром, табаком, потом и страхом — тот особый, кисловатый запах, который Валериан знал по камерам Третьего участка, где люди ждали допроса.

Тибо Марк усадил их на скамью у стены, сам сел за стол и всё время, пока они говорили, вертел в пальцах перо — гусиное, обкусанное, — роняя чернильные кляксы на стол, на бумаги, на свои брюки.

— Девять дней, господин инспектор, — повторял он. — Девять дней назад. Нет — уже одиннадцать. Утром прибежал мальчишка-пастух, Пип, сын Оды-пастушки. У него там коровы паслись, на нижнем лугу, у реки, под садом Веллоров. Кричал, что сад «посерел». Что всё посерело. Что коровы стоят и не двигаются. Я пошёл посмотреть. С двумя стражниками. — Перо хрустнуло в пальцах. — И вот, господин инспектор… И вот я написал донесение. Как положено. Пневмопочтой. В Коллегию.

— Что вы видели?

— То же, что и вы, господин инспектор. — Тибо Марк поднял на него глаза — на мгновение — и тут же опустил. — То же самое. Вы же были там. Вы же видели.

— Вы заходили в дом?

— Заходил. — Пристав сглотнул. — До столовой. Дальше — нет. Я увидел их… и вышел. Один из стражников потом неделю заикался. Второй уволился и уехал к брату в Марки.

— Свидетели? Кто-нибудь выжил? Кто-нибудь был в поместье той ночью — слуги, работники, гости? Кто-нибудь видел, что происходило?

Тибо Марк перестал вертеть перо. Медленно положил его на стол. Посмотрел в окно — сквозь щель в ставне, туда, где за площадью, на ступеньке часовни, сидела женщина в тёмном платке.

— Никого, господин инспектор, — сказал он. — Никого.

Валериан двадцать лет слушал, как люди лгут. Он знал все виды лжи — наглую, глупую, умную, испуганную, расчётливую, жалкую, весёлую, отчаянную. Ложь, которой человек защищает себя. Ложь, которой защищает другого. Ложь, в которую сам верит. Ложь, которая кричит о том, что это ложь.

Эта была испуганной. И ещё — виноватой.

— Пристав, — сказал он мягко. Он умел говорить мягко, когда было нужно; курсанты не верили, что он это умеет. — Мне нужны ваши книги. Учёт въездов и выездов через мост. Записи о грузах — что, когда, сколько, от кого, кому. Особенно — о подводах, которые зимой везли в поместье Веллоров оборудование. Три подводы, под рогожей. Вы ведь записывали?

Такие подводы не могли пройти через ваш мост незамеченными. Вы бы взяли с них мостовой сбор.

Тибо Марк побледнел — так, что пот на его лбу стал похож на капли воска.

— Книг… нет, господин инспектор.

— Как — нет?

— Их забрали. — Пристав сглотнул ещё раз. Его кадык дёрнулся вверх-вниз, как поплавок. — Четыре ночи назад. Приехали… господа. Ночью. В чёрном экипаже, без гербов. В серых мантиях. С фиолетовыми печатями на плечах. Ваши, господин инспектор. Из Коллегии. Сказали: «По распоряжению Отдела». Какого отдела — не сказали. Я спросил — посмотрели так, что я больше не спрашивал. — Он облизнул сухие губы. — Забрали книги учёта. Все. За три года. Забрали копию моего донесения. Забрали протоколы осмотра. Забрали мои личные записи — у меня дневник был, я туда погоду записывал и всё такое, — тоже забрали. Сидели здесь до утра, читали. Задавали вопросы.

— Какие?

— Кто ещё видел. Кому я рассказывал. Кому писал. Кто приезжал в поместье за последний год. Кто такой мастер Корвин, откуда, где жил, с кем говорил. — Тибо Марк замолчал. Потом сказал совсем тихо: — А под утро забрали мальчишку. Пипа. Сказали, что его нужно опросить в столице. Как главного свидетеля. Сказали — через неделю вернут.

Гаспар, сидевший у двери, тихо, но очень отчётливо выругался.

Валериан смотрел на пристава. Пристав смотрел в окно. Где-то на площади звякнуло ведро. Мычала корова. Звонил колокол на маленькой часовне — полдень. Обычный весенний день в обычном провинциальном городке. Только на юго-западе, за холмами, над вишнёвым садом, не летали птицы.

— Они сказали вам что-нибудь ещё? — спросил Валериан.

Тибо Марк наконец повернулся к нему. Глаза у него были мокрыми.

— Сказали, — прошептал он. — Сказали, что если я захочу кому-нибудь рассказать о том, что видел, господин инспектор, то пусть сперва вспомню, что у меня трое детей. — Он понизил голос до едва слышного шёпота. — И что серая пыль бывает не только в садах.

* * *

Валериан долго молчал. Потом достал кисет, скрутил самокрутку, протянул приставу. Тот взял дрожащими пальцами. Валериан поднёс спичку.

— Пристав, — сказал он, когда Тибо Марк затянулся и закашлялся. — Несколько дней назад в Ботаническую академию, в Срединный Град, пришла телеграмма для леди Лиры Веллор. Одно слово: «Приезжай». Без подписи.

Тибо Марк замер с самокруткой у губ.

— Это ведь вы её послали.

Долгое молчание. Потом пристав медленно кивнул.

— Я, — сказал он. — Со станции. Ночью, когда серые уехали. Станционный телеграфист — мой кум, он не записал. — Он посмотрел на Валериана почти с вызовом. — Она должна была знать, господин инспектор. Это её семья. Её отец. Её дом. Они бы ей не сказали — они бы всё закопали, засекретили, а ей написали бы, что отец умер от лихорадки и похоронен в закрытом гробу. Я знаю, как это делается. Я двадцать лет на службе. — Его голос дрогнул. — Я не мог. Я помню её девочкой. Она мне на Цветении венок сплела. Из вишнёвых веток. Я его до сих пор храню.

Он отвернулся и долго смотрел в стену.

— Вы им не скажете? — спросил он наконец, не оборачиваясь.

— Нет, — сказал Валериан. — Не скажу.

— Почему?

— Потому что вы поступили по совести, пристав. А это пока ещё не статья.

Тибо Марк долго смотрел на него. Потом вдруг всхлипнул — коротко, по-детски — и уткнулся лицом в ладони.

II. Свистулька

Ода-пастушка жила на самом краю Лиссы, там, где последние дома городка уже не стояли вдоль улицы, а разбредались по склону холма, как овцы, отбившиеся от стада. Её дом был маленьким, глинобитным, побелённым известью, под соломенной крышей, с низкой дверью, в которую Гаспару пришлось бы входить согнувшись вдвое. Перед домом — палисадник с кустами смородины и грядкой лука. За домом — загон для коз, пустой. Над дверью — пучок сухой полыни от дурного глаза. У порога — маленькие деревянные башмаки, детские, стоптанные, аккуратно поставленные носками к двери, как ставят, когда ждут, что хозяин вот-вот вернётся и обуется.

Валериан пришёл туда один. Гаспара он оставил в «Вишнёвой ветви» — заказать обед, расплатиться с Бертой, узнать о поезде. Ода не сидела больше у часовни: Берта сказала, что под вечер соседки уговорили её пойти домой, поесть, поспать хоть немного.

Он постучал в низкую дверь. Долго ждал. Потом дверь открылась.

Ода смотрела на него снизу вверх — маленькая, худая, в тёмном платке, с тем же лицом, что вчера: лицом тридцатилетней женщины, состарившимся за четыре дня на двадцать лет. Глаза у неё были пустыми. Не мёртвыми — пустыми, как дом, из которого вынесли всю мебель.

— А, — сказала она. — Вы. Который запомнил.

— Можно войти, сударыня?

Она молча отступила от двери.

Внутри была одна комната — низкая, тёмная, с земляным полом, посыпанным соломой, с очагом в углу, над которым висел закопчённый котелок. Стол, две табуретки, сундук. Широкая лавка у стены, застеленная овчиной, — постель. И в углу, у очага, маленькая лавка, покороче, — тоже застеленная, тоже овчиной, и на ней — подушка, набитая сеном, и на подушке — вмятина от детской головы.

На стене над маленькой лавкой были приколоты к глине угольные рисунки на клочках обёрточной бумаги. Козы. Коровы. Собака. Птицы. Река с лодкой. Дом с дымом из трубы. И — Валериан подошёл ближе — сад. Вишнёвый сад на склоне, террасами, а над ним огромное дерево с раскинутыми ветвями. Рисунок был детский, неумелый, но в нём было что-то, от чего у Валериана сжалось горло: мальчик рисовал каждый цветок. Отдельно. Маленькими кружочками углём. Сотни кружочков на ветвях огромного дерева.

— Он любил сад, — сказала Ода у него за спиной. — Ходил туда на Цветение каждый год. С пяти лет. Лорд Аврелий давал ему пряник и вишнёвый венок, как всем детям. А в прошлом году — ещё и перочинный ножик. Сказал: «Вырежи себе что-нибудь, Пип. У тебя руки умные». — Она помолчала. — Он вырезал. Всю зиму резал. Птичек, рыбок, зверей. Свистульки. Мне — эту.

Она разжала ладонь. Свистулька-птичка лежала на ней, тёплая от её руки.

— А себе — рыбку, — сказала Ода. — Свистульку-рыбку. На шнурке, на шее носил. Не снимал. Свистел ей коровам — они его знали, на этот свист шли. Говорил, когда вырастет — будет резчиком. В городе. В Актавиуме. Говорил: «Мам, я тебе дом куплю с тремя окнами».

— Рыбка, — повторил Валериан тихо. — На шнурке. На шее.

— Из вишнёвого дерева. Он ветку подобрал в саду Веллоров, когда садовники обрезали. Вишня твёрдая, говорил, хорошо режется. Рыбка с чешуйками. С глазом. С дырочкой во рту — туда дуешь. — Ода вдруг посмотрела на него, впервые за весь разговор, прямо, с внезапной острой, режущей надеждой. — Зачем вам? Вы его найдёте? Вы правда найдёте?

Валериан стоял перед ней — в мокром плаще, со сферой у сердца, с обгоревшими листами журнала в кармане — и думал о том, что может ей сказать. Он мог сказать правду: что не знает, куда увезли её сына, что люди в серых мантиях не обязаны отчитываться перед старшим инспектором из Брюха, что Особый отдел, о котором он никогда не слышал, может сделать с одиннадцатилетним мальчиком всё, что угодно, и никто никогда об этом не узнает. Он мог сказать ложь: «Да, найду, обещаю». Он двадцать лет не давал обещаний, которые не мог сдержать. Это было одно из немногих правил, которые он никогда не нарушал.

— Я буду искать, — сказал он. — Это я могу обещать. Искать.

Ода смотрела на него ещё мгновение. Потом надежда в её глазах погасла — не сразу, медленно, как гаснет фитиль, — и они снова стали пустыми.

— Все ищут, — сказала она. — Все запоминают. Все ищут.

Она отвернулась к очагу.

Валериан постоял ещё немного. Потом достал из кармана — из того, где лежали деньги, когда они лежали, — последнее, что там было: серебряную полумарку с профилем Регента Галлиана. Положил на стол. Ода не обернулась.

Уже в дверях он спросил:

— Сударыня. Пип рассказывал что-нибудь? Про ту ночь? Про то утро?

Ода долго молчала. Потом сказала, не оборачиваясь, глядя в огонь:

— Он сказал, что сад не кричал. Что когда он прибежал туда утром, к коровам, то сначала подумал, что оглох. Что он свистел в свою рыбку изо всех сил — и не слышал свиста. А коровы стояли серые и не шли. — Пауза. — А ещё он сказал… Он сказал, что ночью видел свет. Из-под земли. Из-под дома Веллоров. Он ночевал с коровами на лугу, у реки, — у них там шалаш. И около полуночи проснулся, потому что земля задрожала. И увидел, что из земли, из-под дома, из трещин в склоне идёт свет. Серебряный. Как будто под землёй течёт река из лунного света. И что этот свет тёк не вниз, а вверх. Из земли — в небо. А потом вдруг повернул. Повернул и пошёл вниз. Обратно. И всё затихло.

Валериан стоял в дверях не двигаясь.

Ток разворачивается. Клапаны не держат. Оно идёт вверх по трубам.

— Он кому-нибудь ещё это рассказывал? — спросил он.

— Приставу. — Ода наконец обернулась. — И тем. В серых плащах. Они его три часа спрашивали. Всё про свет. Какой цвет, сколько времени, в какую сторону. А потом сказали: «Хороший мальчик, наблюдательный. Поедешь с нами в столицу, расскажешь там учёным людям». И увезли.

* * *

Валериан вернулся в «Вишнёвую ветвь» под вечер. Солнце садилось за холмы, и над Лиссой стояло тёплое золотое марево, пахнущее цветущими садами, — живыми садами, белыми, розовыми, — и речной водой, и дымом из печных труб. В такой вечер, подумал Валериан, Веллоры, наверное, сидели на своей террасе над прудом и смотрели, как лебеди плывут к беседке.

Гаспар ждал его в общей зале, за угловым столом, перед миской с остывшей похлёбкой, к которой не притронулся.

— Поезд в семь утра, — сказал он. — Обратная «Стрела». Берта денег за постой не взяла. Сказала — запишет на Коллегию, а Коллегия пусть сама платит, если совесть есть. Я сказал — у Коллегии нет совести. Она сказала — тогда пусть платит без совести.

Валериан сел напротив. Берта молча поставила перед ним миску похлёбки, кружку пива и тарелку с хлебом и ушла.

— Господин инспектор, — сказал Гаспар, понизив голос, — тут, пока вас не было, приходил мальчишка. С запиской. Для вас.

Он положил на стол сложенный вчетверо листок. Валериан развернул.

Почерк был торопливым, наклонным, женским, — уверенным почерком человека, привыкшего вести лабораторные журналы:

«Инспектор. Я уезжаю ночным почтовым — в столицу. Здесь мне больше нечего делать. Они сказали мне, что займутся похоронами сами. Они сказали, что я могу не беспокоиться о наследстве. Они очень вежливые. Я им не верю. Вам — пока не знаю. Но ваша мышь сказала мне "помни". Я помню. Академия, лаборатория почв, третий этаж. Л. В.»

— «Они», — повторил Валериан. — Кто — они?

— Серые, — сказал Гаспар. — Приехали к ней в гостиницу днём, пока вы у пастушки были. Тот, с пустыми глазами, — главный. Говорил с ней в отдельной комнате, полчаса. Берта подслушивала, но ничего не расслышала. Потом она уехала. — Он помолчал. — Они и про вас спрашивали. Где вы. Куда пошли. Берта сказала — к часовне, молиться. Они посмеялись.

Валериан сложил записку и спрятал в карман — к остальным бумажкам, которые однажды могли бы пригодиться.

Они очень вежливые. Я им не верю. Валериан представил её в отдельной комнате «Вишнёвой ветви» — с прямой спиной, с сухими глазами, с серой пудрой на кончиках пальцев, — напротив человека с пустым лицом, который вежливо, тихо, сухо объясняет ей, что её отец отравился парами от нелицензированного оборудования, что похороны Коллегия возьмёт на себя, что наследство в надёжных руках, что ей лучше вернуться к своим почвам и не беспокоиться. И как она кивает. И благодарит. И не верит ни одному слову. И уезжает ночным почтовым — одна, в столицу, где у неё нет никого, кроме лаборатории на третьем этаже.

Он подумал, что, может быть, Иеронимус тоже это понял. Что она не поверила. И что люди, которые увезли пастушонка за то, что он видел серебряный свет из-под земли, а старуху — за песню, вряд ли оставят в покое дочь лорда Веллора, которая помнит каждую террасу сада.

Он подумал, что должен был её задержать. Поговорить. Предупредить. Он не успел. Он был у пастушки. Он искал мальчика, которого не мог найти, и потерял девушку, которую мог.

— Где они сейчас?

— Уехали в поместье. С подводами. Три подводы, Берта говорит, — и на каждой ящики. Длинные. Обитые свинцом.

Валериан долго смотрел в свою миску. Похлёбка была горячей, густой, с бобами и копчёной свининой, и пахла так, что у него свело желудок. Он не ел почти два дня.

Он взял ложку. И понял, что не может.

Он думал о ящиках, обитых свинцом. Длинных. Размером с человека. И о том, что людей из пыли нельзя похоронить. Их можно только собрать.

В ящик.

III. Закрытый глаз

Они пришли за ним в полночь.

Валериан не спал. Он сидел на кровати в той же комнате на втором этаже «Вишнёвой ветви», где ночевал три ночи назад, — одетый, в сапогах, в плаще, — и ждал. Он знал, что они придут. Он не знал когда, но знал — что. Двадцать лет в Коллегии научили его чувствовать такие вещи кожей, как старые солдаты чувствуют перемену погоды по ноющим ранам.

Гаспар храпел на соседней кровати. Валериан не стал его будить.

За полчаса до полуночи он сделал то, что решил сделать ещё в подвале, у верстака. Вынул из внутреннего кармана свёрток в клеёнке — листы журнала, письма Хальвара, — и спрятал его в единственное место в комнате, где, как он знал по опыту, никто никогда не ищет: под расшатанной половицей у печи. Не под кроватью — под кроватью ищут всегда. Не в печи — в печи ищут всегда. Под половицей у печи, накрыв сверху горстью золы. Чертёж из-за голенища

— туда же. Потом достал сферу. Подержал на ладони — холодную, тяжёлую, с медленным дымом в глубине. Подумал.

И положил обратно. Во внутренний карман. К сердцу.

Он не мог объяснить, почему. Не было никакой логики, никакого расчёта. Сфера — главная улика, единственная вещь, которая могла что-то объяснить; её следовало спрятать надёжнее всего. Но когда он попытался положить её под половицу, рука не послушалась. Как будто сфера не хотела. Как будто она хотела остаться с ним.

Глупость, сказал он себе. И оставил её в кармане.

Клик выстучала по пряжке воротника: *«Правильно»*.

* * *

В полночь на лестнице раздались шаги.

Не тяжёлые сапоги стражников. Не шаркающие туфли Берты. Лёгкие, мягкие, ровные, размеренные, как тиканье часов, — шаги людей, привыкших ходить неслышно и не считающих нужным скрывать, что пришли. Четыре пары. Нет — пять. Они поднялись по скрипучей деревянной лестнице так, что не скрипнула ни одна ступенька. Остановились за дверью.

Стук. Три удара. Негромких, вежливых, точных.

Валериан встал, подошёл к двери и открыл.

На пороге стоял человек в серой мантии.

Он был молод — лет тридцати, не больше, — высок, худощав, тщательно, до синевы, выбрит. Бледный — той ровной, восковой бледностью, какая бывает у людей, редко видящих солнце, хотя под искусственным солнцем Шпилей бледнеть было невозможно. Тёмные волосы гладко зачёсаны назад, открывая высокий лоб. Тонкие губы. Прямой нос. Лицо правильное, приятное, даже красивое — и совершенно пустое. Как маска, вырезанная мастером, который знал, как выглядит лицо, но не знал, зачем оно.

И глаза. Светлые, почти прозрачные, серо-голубые, — сухие. Без блеска. Словно из них давно вытекла вся влага, и осталось только стекло. Глаза, которые смотрели на Валериана в «Ахеронской стреле» — через весь вагон, через весь перрон, — с ровным, скучающим вниманием счетовода, сверяющего опись.

За его спиной, на тёмной лестничной площадке, стояли ещё четверо — такие же, в таких же серых мантиях, с опущенными на плечи капюшонами, с такими же пустыми лицами. Они не держали оружия. Им не нужно было оружие.

На плече у каждого — на левом, у самого сердца — была фиолетовая печать Коллегии. Валериан наконец разглядел её вблизи.

Это не были весы.

Это был глаз. Открытый человеческий глаз, вышитый серебряной нитью, — с ресницами, с радужкой, со зрачком, — и поперёк него, точно по середине зрачка, проходила горизонтальная черта. Тоже серебряная. Глаз, перечёркнутый чертой.

Закрытый глаз.

Валериан никогда не видел этого знака. Ни на одном документе, ни на одной печати, ни на одном мундире за двадцать лет. Он знал наизусть все знаки Коллегии — все отделы, все службы, все управления, все звания, — и такого среди них не было.

— Старший инспектор Валериан, — сказал человек на пороге. Голос у него был тихим, сухим, бесцветным. Тихий сухой голос. *Голос тихий такой. Сухой*, — сказал рыжий детина у Третьего шлюза, истекая кровью на мокрых камнях. — Простите, что так поздно. Секретарь Иеронимус. Особый отдел Коллегии Равновесия.

— Какой отдел?

— Особый, — повторил Иеронимус, как будто это было ответом. И, кажется, искренне считал, что это ответ.

— Я двадцать лет служу в Коллегии, секретарь. Я не слышал о таком отделе.

— Вы и не должны были, старший инспектор. — Иеронимус чуть наклонил голову — вежливо, почти почтительно. — Это его основное свойство. — Он сунул руку в складки мантии и достал узкий конверт из плотной бумаги. — Распоряжение Магистра-инквизитора Олдрика. Пришло пневмопочтой на станцию два часа назад. Прошу.

Валериан взял конверт. Сургуч был фиолетовым, с весами. Внутри — полоска бумаги. Почерк — острый, мелкий, без единого лишнего росчерка, как стрелки часов:

«Старшему инспектору В. Передать дело Особому отделу и немедленно вернуться в столицу. Все материалы, включая личные записи, сдать секретарю И. — О.»

Валериан прочитал. Перечитал. Посмотрел на подпись. Одна буква. *О. не должен знать*, — написал мастер Корвин в своём журнале за несколько недель до того, как его рука стала прахом.

Он аккуратно сложил бумагу вчетверо и спрятал в карман. К остальным бумажкам.

— «Все материалы», — повторил Иеронимус. — Включая личные записи, старший инспектор. Ваш блокнот, пожалуйста.

Валериан достал блокнот — потрёпанный, в коричневой кожаной обложке, с загнутыми углами, исписанный за три дня мелким наклонным почерком: описания, схемы, вопросы, имена, — и протянул. Иеронимус взял его двумя пальцами, не открывая, не глядя, и не оборачиваясь протянул назад, через плечо. Одна из серых теней на площадке бесшумно приняла блокнот, и он исчез в складках мантии.

— Благодарю. — Иеронимус смотрел на Валериана. — Всё ли?

— Всё.

Иеронимус продолжал смотреть.

Это был долгий взгляд. Валериан знал такие взгляды — сам смотрел так на подозреваемых сотни раз. Взгляд, который не ищет, а ждёт. Который не давит, а позволяет человеку самому начать нервничать, самому отвести глаза, самому сказать что-нибудь лишнее, чтобы заполнить тишину. Самый простой и самый действенный приём допроса. Ему учили на первом курсе.

Сфера лежала во внутреннем кармане его плаща, у самого сердца, — в двух ладонях от руки Иеронимуса. Она была очень тяжёлой и очень холодной. Ему казалось, что её холод должен чувствоваться в воздухе, как чувствуется сквозняк из открытой двери. Что Иеронимус должен видеть её сквозь ткань. Что её тяжесть оттягивает плащ так, что это видно со стороны. Что его сердце стучит о неё так громко, что слышно на лестнице.

Он не отвёл глаз.

Секунда. Две. Три.

— В лаборатории под домом, — сказал Иеронимус тем же тихим голосом, не меняя ни выражения лица, ни интонации, — мы нашли жаровню. В жаровне были остатки журнала мастера Корвина. Мы оставили их там четыре дня назад, полагая, что огонь закончит работу. Огонь, к сожалению, погас. Сегодня мы вернулись, чтобы забрать остатки. Часть листов отсутствует.

— Я был в лаборатории, — сказал Валериан. — Я видел жаровню. В ней был пепел.

— Пепел, — повторил Иеронимус.

— И отпечаток сапога. Узкого. С острым носом. — Валериан опустил глаза на ноги секретаря. — Таких, как у вас.

Иеронимус проследил его взгляд. Посмотрел на свои сапоги — узкие, мягкие, серой замши, с острыми носами. Потом снова поднял глаза. Впервые за весь разговор в них что-то мелькнуло. Не страх. Не гнев. Что-то похожее на интерес — так энтомолог смотрит на жука, который вдруг повёл себя не так, как написано в справочнике.

— Вы наблюдательны, старший инспектор, — сказал он. — Магистр говорил, что вы наблюдательны. Это хорошее качество. Для инспектора. — Пауза. — Мы проверим вашу память. Позже.

— Где мальчик? — спросил Валериан.

— Какой мальчик?

— Пип. Сын пастушки. Одиннадцать лет. Свистулька-рыбка на шнурке.

Иеронимус помолчал.

— Мальчик в надёжном месте, старший инспектор. Он служит Равновесию. Как все мы. — Он чуть наклонил голову. — Экипаж будет ждать вас у гостиницы в шесть утра. Он доставит вас на станцию. Доброй ночи.

Он повернулся и пошёл вниз по лестнице. Четыре серые тени — за ним. Ни одна ступенька не скрипнула.

Валериан закрыл дверь. Прислонился к ней спиной. Только теперь он почувствовал, что рубашка у него под плащом мокрая насквозь, словно он попал под ливень.

Сфера у сердца была холодной.

Клик выстучала по пряжке воротника два слова:

«Они — пустые».

Валериан подошёл к окну и чуть отодвинул край занавески.

Площадь Лиссы лежала внизу, тёмная, тихая, залитая бледным светом единственного фонаря. У часовни стоял чёрный экипаж. Рядом — три подводы, гружённые длинными ящиками; возницы сидели на козлах неподвижно, ссутулившись, и лошади под ними стояли, опустив головы, и не переступали с ноги на ногу, как переступают обычные лошади ночью. Пять серых фигур вышли из гостиницы и пересекли площадь — ровным, размеренным шагом, не разговаривая, не оглядываясь, — и по очереди сели в экипаж.

Последним шёл Иеронимус. У самой подножки он остановился. Медленно повернул голову. И посмотрел вверх — прямо на окно второго этажа, прямо на узкую щель между занавеской и рамой, прямо Валериану в глаза.

Он не улыбнулся. Не кивнул. Ничего не сделал. Просто смотрел — секунду, две, — тем же скучающим взглядом счетовода. А потом сел в экипаж, и дверца закрылась, и обоз тронулся — экипаж впереди, подводы за ним, — и медленно, без единого огонька, покатил по дороге на юго-запад, к холмам, туда, где лежал Вишнёвый Дол.

Валериан стоял у окна, пока скрип колёс не затих в ночи.

Потом он сел на кровать, положил ладонь на грудь — туда, где под плащом лежала сфера, — и просидел так до рассвета. Гаспар храпел на соседней кровати. Или делал вид, что храпит. Валериан не стал проверять.

IV. Обратная дорога

Перед рассветом, когда за окном только начало сереть, Валериан встал на колени у печи, поддел ножом расшатанную половицу и достал свёрток в клеёнке.

Зола лежала нетронутой — так, как он её насыпал. Никто не искал. Или искал, но не здесь. Или искал здесь, но так аккуратно, что вернул всё на место, горсть к горсти, — Валериан знал, что такое бывает, и знал, что люди в серых мантиях на такое способны. Он развернул клеёнку. Листы журнала — все, сколько было. Письма Хальвара — девять. Чертёж медного сердца. Всё на месте.

Он разделил свёрток на три части. Листы журнала — в подкладку плаща, за пояс, в узкий потайной карман, который сам когда-то пришил для таких случаев. Письма — в сапог, под стельку. Чертёж — свернуть в тугую трубку и сунуть в полый каблук правого сапога, который Фрар выточил ему пять лет назад «на всякий случай» и над которым Валериан тогда посмеялся.

Сфера осталась у сердца.

Гаспар проснулся, когда он уже заканчивал. Сел на кровати, посмотрел на половицу, на пустую клеёнку, на сапог в руках Валериана — и ничего не сказал. Только отвернулся и долго, тщательно, по-солдатски обувался, глядя в стену.

В шесть утра у гостиницы стоял чёрный экипаж без гербов. Кучер в сером плаще не обернулся, когда они сели. Внутри было пусто — только запах кожи, ладана и чего-то ещё, едва уловимого, сухого, пыльного, — как в старом склепе. Дверцы захлопнулись сами. Шторки на окнах были задёрнуты и не открывались.

Берта стояла на пороге «Вишнёвой ветви» в своём накрахмаленном чепце, сложив красные руки на переднике, и смотрела им вслед. Когда экипаж тронулся, она подняла руку — не помахала, а именно подняла, ладонью вперёд, как поднимают руку, благословляя в дорогу. Или прощаясь навсегда.

* * *

Обратная «Ахеронская стрела» отходила со станции Лисса в семь. Валериан и Гаспар снова ехали третьим классом, в хвосте. Первого класса Валериан на этот раз не разглядывал — он знал, кто там едет.

Нет, не знал. Иеронимус и его люди остались в Вишнёвом Доле — с подводами, с длинными ящиками, обитыми свинцом. В первом классе ехали обычные пассажиры: какой-то толстый виноторговец с женой, двое офицеров в отпуску, старая дама с собачкой. Валериан проверил. Он прошёл вдоль всего поезда под предлогом поисков вагона-ресторана, которого в «Стреле» не было, и заглянул в каждое купе.

Серых не было.

Но ощущение, что за ним смотрят, не уходило.

Поезд скользил над рельсами — бесшумно, плавно, — и за окном плыли валларийские холмы, сады, виноградники. Живые — белые, розовые, бледно-лиловые. И серые. Серых было больше, чем три дня назад. Валериан был в этом уверен. Он не считал — но он помнил. Он помнил серую ферму с серой телегой у колодца; теперь серым был и соседний виноградник, и половина холма за ним. Он помнил серый угол сада у дороги; теперь серым был весь сад.

Растёт, сказал Лука. *Как плесень по хлебу. Каждый день — больше.*

Он достал из внутреннего кармана сферу — осторожно, прикрыв полой плаща от посторонних глаз, — и держал её на коленях, в ладонях, глядя в окно. Когда поезд проходил мимо серого пятна, сфера холодела. Когда пятно оставалось позади — теплела. Холодела. Теплела. Холодела. Как пульс. Как дыхание. Как будто она *считала*.

Он смотрел на неё и думал о словах мастера Корвина. *Это не прибор — это орган. Глаз. Его глаз. Он оставил здесь глаз, чтобы смотреть за…*

За чем?

Гаспар спал — или делал вид, что спит, — напротив, свесив голову на грудь. Но Валериан видел, что дыхание у него неровное. Что под опущенными веками двигаются глаза. Что пальцы его огромных рук, лежащих на коленях, время от времени сжимаются в кулаки — и разжимаются.

* * *

На станции Вересковый Брод «Стрела» стояла пять минут.

Валериан вышел на перрон. Под деревянным навесом, на том самом месте, где три дня назад сидела старая крестьянка в чёрном платке, никого не было. Перевёрнутый деревянный ящик лежал на боку. Кадка с мочёными яблоками была опрокинута, и рассол растёкся по доскам перрона тёмным, уже подсохшим пятном. Несколько сморщенных жёлтых яблок валялись рядом, раздавленные чьими-то сапогами.

Станционный смотритель — молодой, рыжий, с испуганным лицом — подметал перрон метлой, старательно обходя пятно.

— Где старуха? — спросил Валериан. — Которая яблоки продавала?

Смотритель перестал мести. Посмотрел на жетон Коллегии. Побледнел.

— Не знаю, господин. Не знаю ничего.

— Когда её видели последний раз?

— Не знаю, господин. — Смотритель смотрел в землю. — Позавчера… кажется. Позавчера приезжали ваши. На дрезине. В серых плащах. Спрашивали про песню какую-то. Кто поёт, кто учил, кто слышал. А потом… — Он сглотнул. — Не знаю ничего, господин. Ничего не видел.

Он повернулся и ушёл в станционный домик, бросив метлу посреди перрона.

Валериан стоял над опрокинутой кадкой и смотрел на раздавленные яблоки. Потом медленно поднял голову и посмотрел на поезд. На окно третьего класса, за которым сидел Гаспар.

Гаспар не спал. Он сидел прямо и смотрел на него через стекло. И в его глазах было что-то, чего Валериан не мог прочесть.

Потом сержант отвёл взгляд.

Позавчера. Позавчера они были в Вишнёвом Доле. Позавчера никто, кроме них двоих, не знал, что Валериан спрашивал старуху про песню. Никто — кроме Гаспара, которому он рассказал об этом в поезде.

Нет. Глупость. Старуха пела эту песню всем — каждому, кто покупал яблоки. Она пела её, наверное, всю жизнь. Серые могли узнать о ней от кого угодно. От станционного смотрителя. От проезжего торговца. От собственных осведомителей, которые есть, наверное, в каждой деревне Империи. Это было совпадение.

Валериан двадцать лет учил курсантов, что совпадений не бывает. А потом двадцать лет убеждался, что бывают.

Он вернулся в вагон. Сел напротив Гаспара. Гаспар смотрел в окно.

— Её забрали, — сказал Валериан.

— Кого?

— Старуху. С яблоками. Которая пела про стену.

Гаспар не повернулся. Его огромные руки на коленях сжались в кулаки — так, что побелели костяшки.

— Это из-за песни? — спросил он тихо.

— Наверное.

Долгое молчание. Поезд тронулся. Станция поплыла назад — серый домик, навес, опрокинутая кадка, брошенная метла.

— Моя бабка, — сказал Гаспар, глядя в окно, — говорила, что за эту песню вешали. Я думал — это давно было. Сто лет назад. Двести. — Он помолчал. — Я не думал, что это до сих пор.

Валериан ничего не ответил.

* * *

В Актавиум они вернулись на третий день, вечером, под проливным дождём.

После Валлларии — после её тёплого солнца, её садов, её звёздного неба — столица обрушилась на них, как ведро помоев. Пелена висела низко, почти над самыми крышами Срединного Града. Дождь шёл стеной. Фонари на Южном вокзале горели тускло, через один. Пахло серой, мокрым железом, дымом и рекой. Валериан вышел на перрон, вдохнул этот воздух — и закашлялся, и понял, что ему почти хорошо. Это был его воздух. Его город. Его грязь.

Гаспар попрощался с ним у выхода с вокзала — коротко, неловко, не глядя в глаза. Сказал, что ему нужно домой: младшая ждёт, именины прошли без него, кукла три дня лежит на полке. Валериан кивнул. Гаспар ушёл в дождь, сгорбившись, огромный, с двумя саквояжами — своим и Валериановым, который он, задумавшись, так и унёс.

Валериан не стал его догонять.

Олдрик принял его на следующее утро — ровно на четыре минуты, по часам Кассиана. Стоя. У окна, спиной к фреске, лицом к искусственному солнцу. Не предлагая сесть.

Валериан говорил. Олдрик слушал, ни разу не перебив, не задав ни одного вопроса, не изменив выражения лица. Сад — серый. Люди — серые. Звука нет. Магии нет — совсем, никакой. Лаборатория под домом. Разорванная машина. Мёртвый алхимик. Особый отдел, который приехал раньше. Пропавший мальчик. Пропавшая старуха.

О сфере Валериан не сказал. О журнале — тоже. О письмах Хальвара. О чертеже.

Когда он закончил, Олдрик кивнул.

— Благодарю вас, старший инспектор, — сказал он. — Особый отдел уже представил мне своё заключение. В Вишнёвом Доле имело место неудачное агрономическое испытание с применением нелицензированного алхимического оборудования неустановленного происхождения. Пары от реакции отравили почву и людей. Смерть мгновенная, безболезненная. Виновный — некий Корвин, алхимик без лицензии, — погиб на месте вместе с жертвами. Дело закрыто за отсутствием состава преступления: преступник мёртв, судить некого. Семья Веллоров похоронена с почестями в фамильном склепе. Леди Лира Веллор получит пенсию от казны как наследница героического рода. — Пауза. — Вашу работу я ценю.

— Магистр, это не отравление.

Олдрик повернулся к нему — медленно, всем телом, как поворачивается статуя на постаменте, — и посмотрел ему в глаза. Глаза у Магистра были светлыми и очень спокойными.

— Валериан, — сказал он мягко. — Дело закрыто. Вы хороший следователь. Не заставляйте меня сомневаться в том, что вы ещё и хороший служитель Равновесия.

Пауза.

— Вы ничего не взяли из поместья, старший инспектор?

— Нет, Магистр.

Олдрик смотрел на него ещё мгновение. Семь полос золотого света лежали между ними, как прутья решётки. Потом Магистр кивнул и снова отвернулся к окну.

— Ступайте.

V. Портсигар

Валериан вышел из Башни Равновесия под искусственное солнце и спустился — сквозь облака, сквозь дождь Срединного Града, сквозь Пелену — в Брюхо. Домой.

Был полдень, но в Брюхе стояли сумерки. На Канатной вода стояла по щиколотку, и мальчишки пускали в ней кораблики из обёрточной бумаги.

Он шёл мимо фонарей и считал. Первый. Второй. Третий. У четырнадцатого он замедлил шаг и коснулся пальцами нацарапанного солнца.

Потом, сам не зная зачем, остановился.

Он стоял под четырнадцатым фонарём, под дождём, и смотрел на мутное зелёное пламя за закопчённым стеклом, и думал о старухе на станции Вересковый Брод, которая пела детям песню про серую пыль, — пела всю жизнь, как пела её бабка, и бабка её бабки, — и которой теперь не было. О Пипе, свистевшем в рыбку из вишнёвого дерева. О девочке с косами и с ложкой. О лорде, поднимающем бокал: *за тех, кто посадил, и за тех, кто сохранил*. О мастере Корвине, вжавшемся спиной в медное сердце своей машины. *Да простит меня тот, кто держал небо*.

И о том, что сегодня утром он солгал Магистру Олдрику. Первый раз за одиннадцать лет. Глядя в глаза.

Вы ничего не взяли из поместья, старший инспектор?

Нет, Магистр.

Он ждал, что ему будет стыдно. Ему не было стыдно. Ему было холодно — от сферы у сердца — и очень, очень спокойно. Так спокойно, как не было уже много лет.

* * *

Часовая мастерская Фрара была открыта.

Внутри, как всегда, тикали сотни часов, и тиканье сливалось в мерный шорох, похожий на шум дождя. Пахло маслом, металлом, табаком и пивом. Фрар сидел за верстаком, низко склонив лохматую рыжую голову над разобранными карманными часами, с лупой в глазу, и не поднял головы, когда звякнул колокольчик над дверью.

— Вернулся, — прогудел он. — Долго тебя не было. Неделю. Мышь не скучала?

— Фрар.

— Мм?

Валериан закрыл за собой дверь. Повернул ключ в замке. Задвинул щеколду. Перевернул табличку на стекле стороной «Закрыто». Опустил штору на витрине.

Фрар перестал ковырять часы. Медленно вынул лупу из глаза. Поднял голову.

— Это что ещё за представление?

Валериан подошёл к верстаку. Наклонился через него — через шестерёнки, пружины, винтики, через раскрытые корпуса часов, — так, чтобы его лицо оказалось на одном уровне с лицом гнома. И сказал тихо, очень тихо, раздельно, почти не шевеля губами:

— От Хальвара. Который помнит чертежи.

Фрар не шевельнулся.

Долгое мгновение он сидел совершенно неподвижно — как каменная статуя гнома в нише старого храма. Его лицо — огромное, бородатое, с носом-картошкой, — не изменилось ни на волос. Только глаза. Маленькие, глубоко посаженные, медово-карие гномьи глаза под кустистыми рыжими бровями — расширились. Совсем чуть-чуть. И в их глубине что-то вспыхнуло и погасло.

— Повтори, — сказал Фрар. Голос его, обычно гулкий, как колодец, был сейчас тихим, хриплым, почти шёпотом.

— От Хальвара. Который помнит чертежи.

Фрар медленно положил на верстак пинцет. Медленно вытер огромные руки о кожаный фартук. Медленно встал — маленький, широкий, как дверной проём, — и, не говоря ни слова, обошёл верстак, прошёл мимо Валериана к двери, проверил замок, проверил щеколду, отодвинул край шторы и долго смотрел на улицу — налево, направо. Потом вернулся. Встал перед Валерианом, задрав голову, — гном был ему по грудь, — и посмотрел снизу вверх.

— Где ты слышал это имя, человек?

— В письмах. Девять писем. Мастеру Корвину, алхимику. В подвале под поместьем Веллоров, в Валлларии.

— Корвин. — Фрар закрыл глаза. — Корвин жив?

— Нет.

Гном долго молчал. Его рыжая борода, заплетённая в три косы, дрогнула — словно он сжал челюсти.

— Хальвар писал мне про него, — сказал он наконец. — Прошлой осенью. Последнее письмо. Что нашёлся человек из ваших, людских учёных, — не из Академии, а из этих, тайных, — который понял. Сам. Без нас. Который ушёл от своих хозяев и хочет попробовать… — Фрар открыл глаза. — Хальвар просил меня помочь ему, если он придёт. Он не пришёл.

— Он не успел.

— Что он сделал?

— Попытался вернуть земле силу. Обратным током. Через машину. — Валериан помолчал. — Земля не приняла. Ток развернулся. Он написал: «Я думал, что открываю кран, а я открыл дверь».

Фрар коротко, горько выдохнул — не то смех, не то стон.

— Дурак, — сказал он. — Смелый дурак. Хальвар его предупреждал. Не трогай то, что держит. — Он покачал головой. — И что там теперь? В Валлярии?

— Серое. Всё серое. Сад, дом, люди. Звука нет. Магии нет. Ничего нет. Моя мышь сказала — там даже пустоты нет. Дыра.

— Тишина, — прошептал Фрар. — Значит, уже здесь. Значит, уже наверху. — Он посмотрел на Валериана долгим, тяжёлым, гномьим взглядом. — Это всё? Ты пришёл только сказать мне, что Корвин умер?

Валериан помедлил. Потом расстегнул плащ, сунул руку во внутренний карман — к сердцу — и вынул сферу.

Он положил её на верстак, между шестерёнками и раскрытыми корпусами часов.

* * *

Тиканье в мастерской сбилось.

Не всё — не сотни часов разом. Но Валериан услышал это ясно, отчётливо: где-то на полке, слева, высокие напольные часы с маятником пропустили удар. Потом ещё одни, в витрине. Потом каминные, на стене. Как будто сотни крошечных механических сердец разом вздрогнули — и споткнулись — и снова пошли, но уже не так, как раньше. Медленнее. Тише. Прислушиваясь.

Фрар смотрел на сферу.

Он не двигался. Не дышал. Его лицо стало серым — не тем мёртвым серым, что в Вишнёвом Доле, а обычным, человеческим — гномьим — серым, каким становится лицо от сильного потрясения. Его огромные руки, лежавшие на краю верстака, задрожали.

— Глаз, — сказал он. — Это Глаз.

— Корвин тоже так писал. «Его глаз». С большой буквы. Чей?

Фрар не ответил. Он медленно, очень медленно, словно боясь обжечься, протянул руку и коснулся сферы кончиком толстого, мозолистого, обожжённого пальца. И замер. И закрыл глаза. И так стоял — минуту, две, три, — а вокруг сбивались и снова шли сотни часов.

Потом он прижался к верстаку ухом. Прямо к столешнице, рядом со сферой. Как прижимаются ухом к стене, чтобы услышать, что происходит в соседней комнате. Как, наверное, прижимался когда-то к камню в Казад-Груме, «без дозволения».

— Гудит, — прошептал он. — Слышишь? Нет, ты не слышишь, у вас уши не те. Гудит. Как камни Клыка в ту ночь. Так же. Тот же тон. — Он поднял голову. Глаза у него были мокрыми. — Это они ей отвечали, понимаешь? Камни. В ту ночь, когда я тебе говорил. Когда Корвин открыл дверь — она закричала. А камни Клыка ей ответили. Через пол-Империи. Потому что они — из одного. Из одной руки. Из одного замысла.

— Чьего, Фрар?

Гном долго смотрел на него. Потом медленно отнял руку от сферы и выпрямился.

— Не сейчас, — сказал он. — Не сегодня. Мне нужно… мне нужно спросить камни. Мне нужно подумать. И мне нужно, чтобы ты кое-что увидел — сам, своими глазами, — прежде чем я тебе что-нибудь расскажу. Иначе ты не поверишь. Вы, люди, ничему не верите, пока не потрогаете руками. — Он вытер лицо рукавом. — Приходи в новолуние. Через двенадцать ночей. В полночь. Не раньше.

— Почему в новолуние?

— Потому что в новолуние камни громче всего, — сказал Фрар. — А люди в серых плащах — слепее всего. — Он подтолкнул сферу по верстаку к Валериану. — Спрячь. И не показывай никому. Никому, слышишь? Даже своему сержанту. Особенно — своему сержанту.

Валериан замер.

— Почему — особенно?

Фрар посмотрел на него снизу вверх — долго, тяжело, печально.

— Потому что у него четверо детей, человек, — сказал гном. — А у тебя — ни одного.

* * *

Валериан поднялся к себе по узкой скрипучей лестнице за мастерской.

Его квартира была маленькой, сырой, и пахла машинным маслом, табаком и старыми книгами. Одна комната, одно окно на Канатную, стол, заваленный бумагами, двенадцать томов Кодекса на полке, узкая железная кровать.

А над столом висела гравюра.

Выцветшая, в простой деревянной рамке, вырезанная много лет назад из праздничного календаря «Листка Срединного Града» к Дню Победы. Вид Вишнёвого Дола в пору Цветения: белые террасы, спускающиеся к реке; розовый туман лепестков над аллеей; лебеди на пруду; белый дом с колоннадой; и над всем — Старая Вишня, огромная, раскидистая, в полном цвету. Крошечные фигурки гостей на аллее. Крошечная фигурка в белом сюртуке под Старой Вишней, с поднятым бокалом.

Он повесил её девять лет назад, когда въехал в эту комнату, — потому что она была единственным светлым пятном на тёмной стене. Он и забыл, что она там висит. Он не смотрел на неё годами.

Теперь он стоял и смотрел и не мог отвести взгляд.

Он закрыл дверь на два замка. Задёрнул штору. Зажёг кристаллическую лампу на столе. Сел.

Достал сферу.

Она лежала на тёмном дереве стола — серая, тяжёлая, холодная, — и в её глубине медленно, медленно двигался дым. Валериан смотрел на неё долго. Потом достал из кармана портсигар — старый, помятый, с полустёртой надписью «…ВЕЧНО», — открыл и вынул из него все самокрутки.

Взял сферу и положил в портсигар.

Она легла как влитая. Без зазора, без щели, — так, будто портсигар был сделан для неё. Так, будто двенадцать лет он пустовал, ожидая. Крышка закрылась с мягким щелчком.

Клик сидела на краю стола и смотрела на него голубыми кристаллическими глазами. Потом подошла к портсигару. Тронула лапкой металлический бок — осторожно, как трогают спящего. Помедлила. И выстучала — медленно, отчётливо, с укоризной, — по металлу:

«Устав. Параграф девять. Сокрытие улики».

— Знаю, — сказал Валериан.

«Пятнадцать лет — ни одного нарушения».

— Знаю.

«Сегодня — солгал Олдрику».

— Знаю, Клик.

Мышь помолчала. Потом выстучала одно слово:

«Почему?»

Валериан долго не отвечал. Он смотрел на гравюру над столом — на белые террасы, на розовый туман, на лебедей, на крошечную фигурку в белом сюртуке, — и думал о серой ложке с серой вишней в руке девочки с косами. О мальчишке со свистулькой-рыбкой, которого увезли «опросить» и который теперь «служит Равновесию». О старухе с яблоками и опрокинутой кадке. О маленьком испуганном приставе с тремя детьми и вишнёвым венком в шкатулке. О секретаре с сухими глазами и о печати с закрытым глазом. О Гаспаре, который отвёл взгляд в окне поезда. О Фраре, который сказал: *особенно — своему сержанту*.

Потом он взял портсигар, спрятал его во внутренний карман, у самого сердца, — и сфера прижалась к нему холодом, словно ответила.

— Потому что они не хранят, Клик, — сказал он наконец. — Они прячут. А это разные статьи.

Мышь посмотрела на него, помолчала и выстучала ещё одно слово. Он прочёл его, не глядя, по ритму.

«Хорошо».

За окном шёл дождь. Внизу, в мастерской, тикали сотни часов — уже ровно, уже спокойно. Дальше по Канатной, за изгибом стены, горели фонари квартала Мокрых Фонарей — зелёные, как старое бутылочное стекло, — там, куда скоро должна была привести его ниточка, имя которой он пока не знал. Где-то наверху, в Шпилях, под вечным утром искусственного солнца, Магистр Олдрик подписывал бумаги одной буквой. Где-то в Валлории, в фамильном склепе Веллоров, стояли длинные ящики, обитые свинцом.

А на юге, далеко-далеко, за горами и степями, за реками и туманами, там, куда не смотрела ни одна имперская карта, что-то огромное и безмолвное медленно поворачивалось во сне.

Сфера в портсигаре стала на одну тысячную долю холоднее.

Валериан этого не заметил.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

БРЮХО

Глава шестая

СПИСОК ПОКУПАТЕЛЕЙ

Земля не лжёт. Лгут те, кто её межует. Если хочешь знать правду о провинции — читай не указы Регентов, а книги землемеров. Если хочешь знать правду о человеке — читай его счета.

— Из лекций магистра Эдмунда Фаэ в курсантской школе Коллегии

I. Лаборатория почв

Неделю Валериан ждал.

Он ходил на службу. Разбирал рапорты Третьего участка. Допросил двух карманников и одного поджигателя. Написал отчёт о поездке в Валларию — четыре страницы, сухих и аккуратных, где не было ни сферы, ни журнала, ни писем, ни старухи с яблоками, — и отдал Кассиану, и Кассиан, не читая, положил его в ящик, из которого, как Валериан подозревал, бумаги не возвращались никогда. Он ел, когда вспоминал. Спал, когда мог. По ночам доставал портсигар, клал его на стол перед собой и смотрел, как в глубине сферы медленно ворочается дым, — и чувствовал, как она холодеет, всегда в одну и ту же сторону: на юг. Не в сторону Валларии — та лежала на юго-западе. Южнее. Дальше. Туда, где на имперских картах кончались дороги.

К Фрару он не заходил. Фрар сказал — в новолуние. Гном проходил мимо него на лестнице, кивал, гудел что-то о погоде и ни разу не взглянул ему в глаза.

На восьмой день он понял, что, если будет ждать дальше, сойдёт с ума. Он надел плащ и поднялся в Срединный Град.

Ботаническая академия Актавиума стояла в самом сердце Срединного Града, на холме Святого Тимона, и была, по общему мнению, единственным зданием в столице, построенным не для того, чтобы на него смотрели, а для того, чтобы из него смотреть.

Её возвели в сто семнадцатом году Победы, при Регенте Феликсе Садовнике, — единственном Регенте, который, как говорили, больше любил растения, чем людей, и был за это любим людьми больше всех остальных Регентов. Феликс велел построить её целиком из стекла и железа: огромная оранжерея в форме раскрытой книги, два крыла, сходящихся под углом, и в месте их схождения — купол, высокий, как колокольня, под которым росла пальма, привезённая из-за моря и за триста восемьдесят лет вымахавшая до самого стеклянного свода. Пальму звали Феликсом. Каждый новый студент Академии в первый день учёбы должен был подойти к ней, положить ладонь на ствол и сказать: «Здравствуй, Феликс, я пришёл учиться». Это была традиция. Её соблюдали все — даже седые профессора, возвращавшиеся из долгих экспедиций.

Под стеклом было тепло, влажно и зелено. Пахло землёй, листвой, мокрым мхом, цветами, перегноем, — пахло так, как не пахло больше нигде в Срединном Граде. Здесь росли деревья со всего света: эльфийские серебряные клёны из Сильв-Эрин, привезённые ещё в те времена, когда эльфы дарили людям саженцы; горные сосны с востока, кривые и цепкие; южные лимоны, северные карликовые берёзы, болотные кипарисы, папоротники в человеческий рост. Здесь пели птицы, которых никто не держал в клетках, — они залетели когда-то сквозь открытые фрамуги и остались, потому что здесь было лучше, чем снаружи. Здесь журчали ручьи в каменных руслах, проложенных между грядками.

Валериан не был здесь двадцать лет. В последний раз — курсантом, на экскурсии по «культурному наследию столицы». Он помнил, что тогда пальма Феликс показалась ему огромной. Теперь она казалась ещё больше.

Но было и что-то другое. Что-то, чего не было двадцать лет назад.

Он шёл по главной аллее между грядками — студенты в зелёных фартуках поднимали головы, провожали взглядами его мокрый плащ, — и смотрел по сторонам. На эльфийский клён у фонтана, нижняя ветвь которого была обмотана мешковиной. На карликовую берёзу, у корней которой была выкопана и засыпана свежей землёй широкая яма — словно что-то вынимали и меняли. На табличку, воткнутую в пустую грядку: «Экспериментальный участок №9. Временно закрыт. Не входить». На решётку в стекле купола, которой раньше не было, — частую, железную, — за которой стояли в кадках какие-то растения, накрытые плотной тканью.

Под тканью, Валериан был уверен, было серое.

Мимо него, по боковой дорожке, прошёл пожилой садовник в зелёном фартуке с лейкой в руке. Он остановился у закрытой грядки номер девять, постоял, глядя на пустую чёрную землю, и тихо, одними губами, что-то сказал. Валериан не расслышал. Но по движению губ понял — это было не ругательство. Это была молитва. Старый садовник молился над пустой грядкой, как молятся над могилой. Потом поправил табличку «Не входить», вздохнул и пошёл дальше, к пальме Феликсу, — поливать.

* * *

Лаборатория почв помещалась на третьем этаже восточного крыла — в длинной комнате под скошенной стеклянной крышей, где летом, наверное, было невыносимо жарко, а весной под шум дождя по стеклу хорошо думалось. Вдоль стен тянулись стеллажи, уставленные стеклянными банками с землёй — сотни банок, тысячи, — и на каждой была наклеена бумажка с аккуратной подписью: «Валлария, Вишнёвый Дол, нижн. террас., 489», «Марки, Чёрный Ручей, пашня, 494», «Дол Ахерона, Серая Мельница, луг, 497». Земля в банках была разная — чёрная, бурая, рыжая, жёлтая, песчаная, глинистая, жирная, тощая. Цвет земли за пятьсот лет Империи. Летопись, которую никто, кроме двенадцати учёных, не умел читать.

Посередине комнаты стоял длинный стол, заваленный инструментами — весы, лупы, ступки, сита, реторты, микроскоп в медной оправе, спиртовки, — и над этим столом, спиной к двери, сидела Лира.

Она не слышала, как он вошёл. Она смотрела в микроскоп.

Валериан остановился в дверях. Она была в рабочем халате — когда-то белом, а теперь пёстром от пятен земли, кислот и чернил, — с закатанными до локтей рукавами. Русые волосы — туго, некрасиво, по-рабочему стянуты в узел на затылке, и из узла торчали два карандаша. Спина прямая, плечи напряжены. Рядом с микроскопом стояли семь маленьких стеклянных пробирок в штативе, закупоренных пробками и запечатанных воском. В каждой — серое. Пыль. Серая пыль Вишнёвого Дола.

Она взяла её с собой. Конечно, взяла. Учёный.

— Ваше крыльцо, леди Веллор, плохо охраняется, — сказал он. — Меня никто остановил.

Она не вздрогнула. Не обернулась. Только сказала, не отрываясь от окуляра:

— Это Академия, инспектор. Здесь не охраняют. Здесь думают. — Пауза. — Вы пришли через неделю. Я думала, вы придёте раньше. Или не придёте вообще.

— Я был занят. Писал отчёт, который никто не прочтёт.

— А я была занята тем, что пыталась понять, что это такое. — Она наконец оторвалась от микроскопа и повернулась на табурете. Лицо у неё было бледным, осунувшимся, под глазами — синяки от бессонницы, но глаза — живыми, острыми, лихорадочно блестящими. Глазами человека, который нашёл задачу, над которой можно думать, чтобы не думать о другом. — И знаете что? Я не понимаю. Ничего. Это не земля. Это не прах. Это не пепел. Это вообще не вещество.

Она взяла одну из пробирок, протянула ему.

— Подержите.

Он взял. Пробирка была лёгкой — слишком лёгкой. Как будто пустой. Он посмотрел на свет: серая пыль занимала её на три четверти, тонкая, однородная, неподвижная.

— Весов нет, — сказала Лира. — Я взвешивала. На лабораторных весах, которые чувствуют вес ресницы. Пробирка с этим весит ровно столько же, сколько пустая пробирка. Ни на гран больше. Это ничего не весит, инспектор. Совсем. — Она взяла у него пробирку, поставила обратно в штатив. — Я пробовала растворить в воде, в кислоте, в щелочи, в спирте. Не растворяется. Не смешивается. Не тонет и не всплывает — висит. Я пробовала нагреть — не нагревается. Термометр в ней показывает ровно ту же температуру, что в пустой колбе. Я пробовала посмотреть под микроскопом. — Она кивнула на медный тубус. — Посмотрите сами.

Валериан наклонился к окуляру.

Сначала он ничего не увидел — только серое, ровное, плоское, как туман. Потом подкрутил винт. Серое не стало чётче. Он подкрутил ещё. И ещё. И понял, что никакой чёткости не будет. Сколько ни увеличивай — серое оставалось серым, ровным, бесструктурным. Ни зёрен, ни волокон, ни кристаллов, ни клеток. Ничего. Под самым сильным увеличением, какое существовало в Империи, серая пыль выглядела точно так же, как невооружённым глазом.

Как будто её не было. Как будто микроскоп смотрел в дыру.

Там нет даже пустоты. Там — дыра.

Он выпрямился.

— Я написала доклад, — сказала Лира. — Ректору Академии. Позавчера. Подробный, с таблицами. — Она усмехнулась — коротко, горько. — Вчера ректор вызвал меня к себе. Очень вежливо поблагодарил. Сказал, что тема чрезвычайно интересная, но, к сожалению, не входит в план исследований на текущий год. Что мне предоставлен оплачиваемый отпуск на три месяца по семейным обстоятельствам. И что мои образцы, — она кивнула на пробирки, — следует сдать в хранилище Коллегии для дальнейшего изучения специалистами.

— Вы не сдали.

— Сдала. — Она посмотрела на него. — Двадцать одну пробирку. А семь оставила. — Пауза. — Вы ведь тоже кое-что оставили, инспектор. В подвале. Я видела, как вы смотрели на жаровню. И как вы держали руку у сердца — всё время, пока мы говорили. Вы держали руку так, как держат что-то тяжёлое.

Валериан ничего не ответил.

Клик за воротником тихо выстучала по пряжке: *«Умная»*.

— Я знаю, — сказал он вслух.

— Что знаете? — спросила Лира.

— Это я мыши. Она говорит, что вы умная.

Лира посмотрела на него долгим взглядом. Потом впервые за всё время — за всё время с того мгновения, как она спустилась в подвал с самострелом, — улыбнулась. Слабо, криво, едва заметно, одними уголками губ.

— Передайте ей, что она тоже, — сказала она. — Садитесь, инспектор. Я сварю кофе. Нам, кажется, нужно о многом поговорить.

II. Письма с рисунками

Кофе она сварила на спиртовке, в лабораторной колбе, процедив через фильтровальную бумагу, — чёрный, крепкий, горький, пахнущий почему-то землёй. Разлила в две мерные мензурки с делениями. Одну протянула Валериану.

— Чашек нет, — сказала она. — Здесь никто не пьёт кофе из чашек. Профессор Ланн считает, что чашки — это буржуазный предрассудок.

Валериан отпил из мензурки. Кофе был обжигающим и отвратительным. Он выпил его до дна.

Лира сидела напротив, на высоком лабораторном табурете, обхватив свою мензурку обеими руками, и смотрела на него поверх неё. Между ними на столе лежала стопка писем — двадцать или тридцать конвертов из плотной кремовой бумаги, перевязанных выцветшей голубой лентой. На каждом — один и тот же почерк, крупный, размашистый, с завитушками на заглавных буквах: «Леди Лире Веллор, Ботаническая академия». На каждом — штемпель Лиссы.

— Это всё, что у меня есть от отца, — сказала она. — За последние три года. Он писал каждую неделю. Иногда — дважды в неделю. Иногда по пять страниц. О саде, о погоде, о соседях, о книгах, которые читал. О том, что Тео опять влюбился, а Мирта научилась играть на лютне «Песню о лебедях». — Она замолчала. Потом взяла верхний конверт и вынула из него письмо. — Вот. Это февральское. О котором я вам говорила. Три страницы, с рисунками.

Она протянула его Валериану.

Почерк лорда Аврелия Веллора был почерком человека, который пишет быстро и много и которому есть что сказать: строчки бежали вниз по странице, налезая друг на друга, с кляксами, с зачёркиваниями, с вставками на полях. Валериан читал — и слышал голос. Тёплый, ироничный, немного усталый голос человека, которого он видел только серым, с бокалом в руке.

«Ли, дорогая моя, у меня новости! Не смейся, но, кажется, я нашёл спасение для нижних террас. Помнишь, ты писала мне про "истощение верхнего слоя" и что-то про "недостаток элементов"? Так вот, я встретил людей, которые знают, как это исправить. Не порошками и не навозом — машиной! Настоящей машиной, как на эфирных фабриках, только для земли. Мне её показал господин Сайлас Вэнс, поверенный Ахеронского товарищества ирригации и мелиорации, — он приезжал в Лиссу в декабре, объезжал поместья, предлагал новинку. Сказал, что Товарищество работает по заказу самой Палаты Регентов, что такие машины уже стоят в пяти поместьях Валлории и в трёх — в Марках, и что везде урожай поднялся вдвое. Вдвое, Ли! Я, конечно, не поверил. Я съездил к старому Пармо в Белые Ручьи — у него такая стоит с осени. И знаешь что? У Пармо в январе цвели яблони. В январе! Под снегом! Я видел своими глазами…»

Валериан перевернул страницу. На обороте был рисунок — тушью, торопливый, неумелый, но старательный: бочкообразный корпус, трубы, уходящие вниз, манометры, вентили. Медное сердце. Подпись: *«Вот она, моя красавица! Модель II. Ставят в погребе, трубы уходят в землю на сорок локтей. Работает тихо, только гудит немножко»*.

«…Стоит, конечно, безумных денег. Пришлось заложить северный виноградник и продать отцовскую коллекцию монет. Но если это спасёт сад — пусть. Вэнс сказал, что Товарищество пришлёт мастера для наладки, — у них есть какой-то очень знающий человек, учёный, бывший профессор. Мастер приедет в конце месяца. Ли, я так надеюсь. Я так устал смотреть, как они умирают. Каждое утро выхожу на нижнюю террасу — и вижу, что ещё одно дерево посерело с корня. Будто их кто-то пьёт снизу».

Будто их кто-то пьёт снизу.

Валериан перечитал эту строку трижды.

— Модель II, — сказал он вслух. — В подвале стояла Модель III.

— Я знаю, — сказала Лира. — Я видела табличку. «Пробная. Не для продажи». — Она смотрела на него не мигая. — Значит, мастер Корвин заменил её. Привёз свою. Не ту, что продал Вэнс. Другую.

— Да.

— Зачем?

Валериан долго молчал, вертя в пальцах пустую мензурку. Потом расстегнул плащ, нащупал за поясом потайной карман, вынул сложенные листы журнала в клеёнке. Помедлил ещё мгновение. И положил на стол перед ней.

Лира посмотрела на свёрток. Потом на него.

— Это из жаровни?

— Да.

— Вы же сказали им, что в жаровне был только пепел.

— Я сказал, что видел в жаровне пепел. Это правда. Я не сказал, что в пепле ничего не было.

Лира смотрела на него ещё мгновение — и Валериан увидел, как в её глазах что-то меняется. Не доверие ещё — до доверия было далеко. Но что-то вроде признания. Так один ремесленник смотрит на другого, когда видит, что тот знает своё дело.

Она развернула клеёнку и начала читать.

* * *

Она читала долго. Медленно, очень медленно, водя пальцем по обгорелым строчкам, иногда возвращаясь к началу, иногда поднося лист к самому лицу, чтобы разобрать полустёртое слово. Валериан сидел напротив и смотрел, как дождь течёт по стеклянной крыше над её головой. В лаборатории было тихо — только тикали часы на стене, гудела спиртовка и где-то внизу, под стеклянным куполом, пела птица.

Когда Лира дошла до последней строки — *ДА ПРОСТИТ МЕНЯ ТОТ, КТО ДЕРЖАЛ НЕБО*, — она положила лист на стол и долго сидела неподвижно, глядя на него.

— «Если Оазис забирает — значит, можно и вернуть», — сказала она наконец тихо, не поднимая глаз. — «Обратный ток. Тот же насос, та же схема, но клапаны наоборот. Вместо того чтобы тянуть из земли — отдавать ей».

Она подняла глаза.

— Вы понимаете, что это значит, инспектор?

— Расскажите.

Лира встала. Подошла к стеллажам, провела пальцем по рядам банок с землёй. Взяла одну — «Валлария, Вишнёвый Дол, нижн. террас., 489». Вернулась. Поставила на стол. Земля в банке была чёрной, жирной, рассыпчатой, с белыми ниточками корешков.

— Это земля нижней террасы, — сказала она. — Одиннадцать лет назад. Я сама брала эту пробу, мне было шестнадцать, это был мой первый образец. Посмотрите на неё. Это живая земля, инспектор. В ней — сила. Мы не знаем, что это такое. Алхимики называют это «элементами», маги — «эфирным фоном», крестьяне — «соком земли». Я называю это просто силой. Тем, что заставляет семя прорасти, а корень — расти вниз, к воде. Она есть в каждой горсти. Её можно измерить — грубо, косвенно, по тому, как быстро в этой земле прорастает контрольное семя. — Она взяла с полки другую банку. «Валлария, Вишнёвый Дол, нижн. террас., 498». Земля в ней была бурой, сухой, комковатой. — А это — два года назад. Видите? Сила упала. Вдвое. Контрольное семя прорастало в этой земле девять дней вместо четырёх. — Третья банка. «Валлария, Вишнёвый Дол, нижн. террас., 499». Земля — серовато-бурая, пыльная. — Прошлая осень. Семя не проросло вообще.

Она поставила все три банки в ряд. Чёрная. Бурая. Серовато-бурая.

— Я думала, это естественный процесс, — сказала она. — Истощение. Земля устала. Пятьсот лет люди брали у неё и почти ничего не возвращали. Я писала об этом статьи. Меня называли паникёршей. Профессор Ланн говорил, что я преувеличиваю, что Валлария кормила Империю пятьсот лет и прокормит ещё пятьсот. — Она посмотрела на обгорелые листы журнала. — А теперь я читаю: *«Они пьют то, что осталось. Они высасывают остатки, как пиявки из умирающего»*. И: *«Если Оазис забирает»*. И я понимаю, что это не естественный процесс. Это не земля устала. Это её — пьют. Кто-то ставит в погребах машины, которые тянут силу из земли. Не возвращают — тянут. И продаёт эти машины как «мелиорацию». И люди сами за них платят. Закладывают виноградники. Продают отцовские монеты. — Её голос задрожал, но она справилась. — Мой отец заплатил за машину, которая пила его сад.

— Модель II, — сказал Валериан.

— Модель II. И первые месяцы она действительно работала — у старого Пармо цвели яблони в январе. Потому что машина тянула силу из глубины и гнала её вверх, к корням, — и деревья пьянели от неё, как от вина, и цвели не по сезону. — Лира говорила быстро, ровно, как говорят учёные, когда разгадка складывается у них в голове прямо на ходу. — А потом глубина истощалась. И машина тянула всё больше, и больше, и больше. И то, что она тянула, уходило — не к корням. Куда-то ещё. По трубам. — Она подняла глаза к стеклянной крыше. — Куда, инспектор? Куда уходит то, что они забирают?

Валериан вспомнил пятно отсутствия, медленно поднимавшееся по террасам к дому. Вспомнил серебряный свет из-под земли, который видел Пип. Свет, текущий вверх, — а потом повернувший.

Я видел Обитель. Я видел трубы.

— Не знаю, — сказал он.

— Мастер Корвин знал. Он пытался развернуть ток — вернуть земле то, что у неё забрали. А земля… — Лира замолчала. Потом очень тихо, словно боялась, что её подслушают, прочла вслух: — *«Она не принимает. Она тянет. Это не земля тянет — это то, что ПОД землёй. Под садом. Под Ним. Под всеми нами»*. — Она подняла глаза. — Под Ним. С большой буквы. Кто это, инспектор? Кто — «Он»? «Тот, кто держал небо»?

Валериан не ответил. Он думал о Фраре. *Приходи в новолуние. Мне нужно, чтобы ты кое-что увидел — сам, своими глазами, — прежде чем я тебе что-нибудь расскажу. Иначе ты не поверишь.*

— Не знаю, — сказал он снова.

Лира смотрела на него долго и, кажется, на этот раз не поверила. Но не стала настаивать.

— Тогда давайте начнём с того, что знаем, — сказала она и снова взяла в руки письмо отца. — Господин Сайлас Вэнс. Поверенный Ахеронского товарищества. — Она перевернула страницу, нашла постскриптум, мелко приписанный внизу. — Отец оставил адрес. Для меня — на случай, если я захочу «проверить научную сторону дела». Он всегда хотел, чтобы я проверяла. — Она протянула письмо Валериану. — Вот. Читайте.

Внизу, под рисунком медного сердца, под подписью «Твой старый отец», мелким почерком:

«P.S. Контора Товарищества — в нижнем ярусе, переулок Утопленников, дом 9, "под зелёным фонарём", как сказал Вэнс. Говорит, там дешевле аренда. Странно, конечно, для конторы, которая работает на Регентов, — но кто их разберёт, этих столичных».

Валериан смотрел на эти строки, и дым его самокрутки — он закурил, не спрашивая разрешения, и Лира не возразила, — медленно сложился над столом в стрелку. Вниз.

Переулок Утопленников. Брюхо. «Под зелёным фонарём».

Квартал Мокрых Фонарей.

III. Квартал Мокрых Фонарей

Лира пошла с ним. Он не смог её отговорить — и, по правде говоря, не очень старался.

— Это моя семья, инспектор, — сказала она, снимая рабочий халат и натягивая свою кожаную куртку с бесчисленными карманами. — Мой отец. Мой сад. Мой брат, который смеётся за столом. Вы можете запретить мне идти с вами. Тогда я пойду одна. Через час после вас. И, скорее всего, наделаю глупостей, потому что я никогда не была в Брюхе и не знаю, как там себя вести.

— Вы никогда не были в Брюхе?

— Я выросла в Валлларии, а последние десять лет живу между лабораторией и общежитием Академии. — Она проверила самострел, сунула его в сумку. — Я знаю о Брюхе то, что пишут в «Листке Срединного Града». Что там живут воры, убийцы, наркоманы и эльфы.

— Это правда, — сказал Валериан. — Почти всё.

— А что неправда?

— То, что там живут только они.

* * *

Они спустились лифтом Третьей лестницы. Лира стояла у решётки и смотрела вниз, на уходящий Срединный Град, на Пелену, на открывающееся под ней Брюхо, — и Валериан смотрел на её лицо. На нём не было ни отвращения, ни страха. Было любопытство учёного, впервые видящего новый вид. Когда клетка вошла в Пелену и вокруг сомкнулась бурая мгла, Лира закашлялась, прикрыла рот платком — и не отвела глаз.

Внизу шёл дождь. Как всегда.

От нижней станции до квартала Мокрых Фонарей было минут двадцать ходу — по Канатной, мимо часовой мастерской Фрара (Валериан не стал заходить), через Горбатый мост над Вторым каналом, мимо рыбного рынка, где торговки кричали так, что заглушали дождь, мимо закопчённых корпусов эфирной фабрики Морна, мимо ночлежки «Последний приют», — и дальше, туда, где улицы становились уже, дома — выше, а фонари — зеленее.

Квартал Мокрых Фонарей начинался с ворот.

Ворот, собственно, не было — была арка, низкая, каменная, старая, перекинутая через узкий переулок между двумя домами, и под аркой висели фонари. Не кристаллические, не эфирные — бумажные. Огромные шары из промасленной зелёной бумаги на бамбуковых каркасах, внутри которых горели свечи, — десятки фонарей, сотни, гроздьями, гирляндами, — и бумага их промокла от вечного дождя, потемнела, обвисла, и свет сквозь неё сочился мутный, тёплый, изумрудный, как свет сквозь толщу воды. Отсюда и название. Мокрые Фонари. Их меняли каждую неделю, и каждую неделю они снова промокали, — и никто не пытался заменить их на стеклянные. Это была традиция. Или вызов. Или память о чём-то, о чём люди Брюха ничего не знали.

Под аркой на перевёрнутом ящике сидел эльф.

Он был молод — по эльфийским меркам, то есть ему могло быть и сто лет, — тонок, неподвижен, в простой тёмной куртке и широких штанах, подвязанных у щиколоток. Серебристые волосы собраны в узел на затылке и проткнуты длинной бамбуковой шпилькой. На шее, из-под воротника, поднималась вверх по коже, к самому уху, татуировка — зелёная, тонкая, как нарисованная кистью: побег бамбука с тремя листьями. Эльф сидел с закрытыми глазами, положив руки на колени, и, казалось, спал.

Когда Валериан и Лира подошли к арке, он открыл глаза.

Глаза у него были зелёные — не человечески зелёные, не как трава или бутылочное стекло, а глубокие, светящиеся изнутри, как фонари над его головой. Он посмотрел на Валериана — на его шрам, на его плащ, на жетон Коллегии, который тот не стал прятать. Потом на Лиру. Потом снова на Валериана.

И чуть заметно кивнул. Как кивнул тот, на пристани у Третьего шлюза, через сорок шагов дождя.

Мы видели. Мы запомним.

Валериан кивнул в ответ. Эльф снова закрыл глаза.

Они прошли под аркой.

* * *

Квартал Мокрых Фонарей был другим миром.

Валериан бывал здесь — нечасто, по делам, всегда ненадолго, — и каждый раз поражался тому, как резко, как сразу всё менялось, стоило пройти под зелёной аркой. Как будто переходишь не улицу, а границу. Остальное Брюхо было грязным, шумным, беспорядочным, кричащим, — квартал был чистым, тихим, упорядоченным и молчаливым. Мостовые выметены. Сточные канавы прочищены, и вода в них бежала прозрачная. На стенах домов — старых,

брюховских, кирпичных, таких же, как везде, — висели бамбуковые циновки и полотнища зелёного шёлка с вышитыми знаками, которые Валериан не умел читать. На подоконниках, на балконах, на крышах стояли кадки — с бамбуком, с карликовыми соснами, с какими-то цветами, белыми и восковыми, которые, кажется, не нуждались в солнце. Пахло жасмином, сандалом, мокрым деревом и чаем.

И везде висели фонари. Зелёные, бумажные, мокрые.

Эльфы на улицах не смотрели на них. Совсем. Высокие, тонкие, в тёмных одеждах, с серебристыми волосами, с зелёными татуировками на шеях, на руках, на висках, — они проходили мимо, бесшумно, как тени, и их взгляды скользили сквозь Валериана и Лиру, как сквозь стекло. Не враждебно. Не презрительно. Так, словно людей здесь не было. Словно они были призраками, которые забрели не на своё кладбище.

Ор-Эрин, вспомнил Валериан из курсантских лекций. «Падшие Листья». Эльфы, изгнанные из Парящих Садов за преступления против Высших Домов, — или за бедность, или за отсутствие магии, или просто за то, что родились не в той семье. Изгнанные — и пришедшие к людям. Не потому, что любили людей. Потому, что больше было некуда.

Над дверями чайных висели деревянные таблички с одним-единственным знаком, выжженным раскалённым железом. У колодца на маленькой площади эльфийская девочка лет семи — или семидесяти, по эльфам не поймёшь — сидела на корточках и пускала в каменном жёлобе кораблик из сложенной бумаги, такой же острый и совершенный, как всё здесь. Увидев Валериана, она не испугалась, не убежала, только подняла кораблик из воды и прижала к груди, и смотрела на него снизу вверх огромными зелёными глазами, пока они не прошли. На запястье у неё уже была татуировка — крошечный, едва начатый росток бамбука, один-единственный лист.

— Даже дети? — прошептала Лира, проследив его взгляд.

— С семи лет, — сказал Валериан. — Это не украшение. Это имя. Изгнанник, уходя из Садов, теряет своё сильвейнское имя — его вычёркивают из родовых книг, и произносить его запрещено. Здесь ему дают новое. Чужое, на языке, которого нет ни у людей, ни у эльфов. «Имя тени». И татуировку — чтобы помнить, что ты теперь не лист, а побег. Растёшь не вверх, к кронам, а вбок, в темноте.

— Откуда вы знаете?

— Двадцать лет арестовываю их детей, — сказал Валериан. — Они рассказывают.

— Они нас не видят, — прошептала Лира.

— Видят, — сказал Валериан. — Они видят всё. Просто не смотрят. Это вежливость.

— Странная вежливость.

— Здесь всё странное. Не трогайте ничего. Не заговаривайте ни с кем. Если кто-то заговорит с вами — отвечайте коротко и вежливо. Если предложат чай — не отказывайтесь.

— А если в чае яд?

— Тогда тем более не отказывайтесь, — сказал Валериан. — Отказ от чая здесь — оскорбление. А за оскорбление убивают медленнее, чем ядом.

Лира посмотрела на него, пытаясь понять, шутит он или нет. Он не шутил.

* * *

Переулок Утопленников оказался узкой, кривой щелью между двумя старыми складами у самой воды — там, где квартал Мокрых Фонарей обрывался к Третьему каналу. Название он получил, как объяснил Валериан, лет двести назад, когда в нём за одну зиму нашли подо льдом девятнадцать тел. С тех пор переулок не любили даже эльфы. Фонарей здесь было мало. Дома стояли тёмные, слепые, с заколоченными окнами.

Дом номер девять был последним, у самой воды.

Узкий, трёхэтажный, кирпичный, почерневший, с покосившимся крыльцом и железной дверью. Над дверью, на кронштейне, висел зелёный бумажный фонарь — такой же, как везде

в квартале. Только он не горел. Бумага на нём истлела и порвалась, и сквозь дыры был виден бамбуковый каркас, пустой, без свечи, как рёбра скелета.

На двери висел замок — новый, тяжёлый, амбарный. И на замке — сургучная печать. Фиолетовая.

С закрытым глазом.

Лира тихо охнула.

Валериан долго смотрел на печать. Потом огляделся. Переулок был пуст. Окна напротив — заколочены. Канал за спиной — чёрный, неподвижный, с радужными пятнами на воде.

— Клик, — сказал он тихо.

Мышь вылезла из-за воротника, спрыгнула ему на ладонь, с ладони — на замок. Обнюхала его. Обнюхала печать. Ткнулась мордочкой в замочную скважину. И выстучала по железу двери:

«Печать — пустая. Замок — простой. Внутри — никого. Давно».

Валериан достал из одного из четырнадцати карманов маленький кожаный свёрток. Развернул. Внутри лежали отмычки — тонкие стальные крючки, изогнутые иглы, крошечные зубчатые пластинки, — набор, который он конфисковал девять лет назад у знаменитого брюховского взломщика по прозвищу Шёлковый Палец и который так и не сдал в опись.

— Инспектор, — прошептала Лира. — Это же печать Коллегии.

— Это печать Особого отдела, — сказал Валериан, вставляя иглу в скважину. — А я не слышал о таком отделе. Значит, для меня его не существует. А несуществующая печать не может быть сломана. — Щелчок. — Статья сто семьдесят третья, часть первая: «Вскрытие опечатанного помещения без надлежащих полномочий». Наказание — до трёх лет в Тихой Обители. — Ещё щелчок. — Я её только что нарушил. Если хотите уйти — сейчас самое время.

Замок открылся. Валериан осторожно снял его, не повредив печать, — она так и осталась висеть на дужке, целая, нетронутая.

Лира не ушла.

Валериан толкнул железную дверь. Она открылась без скрипа — петли были смазаны. Недавно.

Внутри было темно и пахло пылью.

IV. Контора под зелёным фонарём

Валериан зажёг свой маленький масляный фонарь, Лира — свой эфирный, и два круга света, жёлтый и голубой, легли на пол и стены.

Это была контора. Обычная, ничем не примечательная контора, каких в Срединном Граде сотни: узкая прихожая с вешалкой и зеркалом, за ней — комната побольше, с окном, заколоченным изнутри досками. Конторка с наклонной крышкой. Два стула. Шкаф для бумаг — пустой, с распахнутыми дверцами. Несгораемый сейф в углу — тоже пустой, тоже распахнутый, с ключом, торчащим из замочной скважины. Камин, в котором лежала гора серого пепла — не того серого, мёртвого, а обычного, бумажного. На стене — вывеска, снятая с фасада и прислонённая к стене лицом внутрь. Валериан перевернул её: латунь, чеканка, аккуратные буквы — «АХЕРОНСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО ИРРИГАЦИИ И МЕЛИОРАЦИИ. Поверенный — С. Вэнс. Приём по средам и пятницам».

На полу — следы. Много следов, перекрывающих друг друга в тонком слое пыли. Узкие, с острыми носами. Широкие, тяжёлые, как от сапог грузчиков. Валериан присел, посмотрел. Тяжёлые следы шли от шкафа и сейфа к двери — парами, глубоко вдавленные, словно люди что-то несли. Узкие ходили везде: от шкафа к конторке, от конторки к камину, от камина к окну, кругами, петлями, как ходит человек, который ищет что-то и не может найти.

— Они всё вынесли, — сказала Лира. Её голос звучал в пустой комнате глухо. — И сожгли то, что не вынесли.

— Да.

— Значит, мы опоздали.

— Может быть.

Валериан встал, отряхнул колени. Огляделся. Дым его самокрутки поднялся под потолок и повис там неподвижным облачком, не складываясь ни во что: он не думал, он смотрел.

Он смотрел на комнату так, как учил его магистр Фаэ двадцать лет назад: не на то, что есть, а на то, чего нет. *Всякое помещение, — говорил Фаэ, — это текст. Вещи в нём — слова. Пустоты между вещами — знаки препинания. Тот, кто прибирает за собой, всегда оставляет слишком много пустоты — или слишком мало. Ищите, где пустоты больше, чем должно быть, или меньше*.

Шкаф пуст — правильно, его опустошили. Сейф пуст — правильно. Конторка — он поднял крышку — пуста. Камин полон пепла. Пол истоптан. Всё правильно. Всё так, как должно быть после обыска.

Кроме одного.

На стене над конторкой висела карта. Большая, старая, в простой деревянной раме, под стеклом: «Валлария и Вересковые Марки. Межевая карта земельной гильдии. 487 г. П.К.». Обычная землемерная карта, какие висят в каждой конторе, имеющей дело с землёй. Её не сняли. Её не тронули. Узкие следы на полу подходили к ней, стояли перед ней, уходили — и возвращались, — но не сняли.

Валериан подошёл к карте. Поднёс фонарь.

Карта была чистой. Ни булавок, ни пометок, ни надписей — ничего. Только реки, холмы, дороги, деревни, межевые границы поместий. Стекло — пыльное. Рама — пыльная.

Кроме одного угла. Правого нижнего. Там, на раме, пыли не было. Узкая полоска чистого дерева, длиной в палец. Словно кто-то брался за раму именно здесь — и не один раз.

— Клик, — сказал Валериан.

Мышь спрыгнула ему на руку, перебежала на раму, обнюхала чистый угол. Потом нырнула за раму — между картой и стеной — и исчезла. Несколько мгновений было тихо. Потом из-за карты донёсся стук — частый, торопливый:

«Тут. Полость. В стене. Крючок».

Валериан взялся за раму в том самом месте, где не было пыли, и потянул на себя. Карта не снялась. Она повернулась — на невидимых петлях, как дверца шкафа, — открыв за собой нишу в кирпичной стене. Маленькую, с полфута в глубину, грубо выдолбленную. В нише лежала конторская книга в чёрном коленкоровом переплёте, толстая, потрёпанная. И пачка бумаг, перевязанная шнурком.

Клик сидела на книге, как кошка на пойманной мыши, и смотрела на Валериана голубыми глазами.

«Узкие сапоги искали. Не нашли. Они не смотрят на пыль. Они смотрят на вещи».

— Умница, — сказал Валериан.

«Масло. Вечером. Двойное».

— Договорились.

* * *

Они разложили находку на конторке, сдвинув в сторону пустые чернильницы. Лира держала фонарь. Валериан листал.

Это была книга отгрузок. Аккуратная, бухгалтерская, с графами, расчерченными по линейке: дата, номер изделия, модель, заказчик, адрес, сумма, подпись получателя, примечания. Почерк — один и тот же на всех страницах, мелкий, бисерный, с наклоном влево, как пишут левши. Подпись поверенного внизу каждой страницы: «С. Вэнс».

Валериан листал медленно, вчитываясь. Лира читала через его плечо, и он слышал, как меняется её дыхание.

«12 листопада 498. Модель II, №7. Заказчик — лорд Пармо, поместье Белые Ручьи, Валлария. Сумма — 1200 марок. Получено. Подпись — Пармо».

«3 студеня 498. Модель II, №8. Заказчик — вдова Эрмина Таль, ферма Три Дуба, Валлария…»

«19 студеня 498. Модель II, №9. Заказчик — монастырь Святой Лиссы…»

Страница за страницей. Имена, поместья, фермы, деревни, монастыри. Валлария. Вересковые Марки. Дол Ахерона. Валериан считал. Лира тоже считала — он видел, как шевелятся её губы.

«28 студеня 499. Модель II, №31. Заказчик — лорд Аврелий Веллор, поместье Вишнёвый Дол, Валлария. Сумма — 1400 марок. Получено. Подпись — А. Веллор. Примечание: наладку проводит мастер К. по особому распоряжению».

Лира перестала дышать. Валериан почувствовал это спиной. Он не обернулся.

Её рука легла рядом с его рукой на страницу — узкая, с обломанными ногтями, с въевшейся в кожу землёй, — и палец медленно коснулся строки. «А. Веллор». Знакомая завитушка на заглавной букве. Тот же росчерк, что на тридцати письмах, перевязанных голубой лентой. Отец подписал это в декабре, у камина в своём кабинете, наверное, — Вэнс сидел напротив в кресле, пил его вино, рассказывал про яблони старого Пармо, цветущие в январе, — и лорд Аврелий Веллор, член Земельной гильдии, почётный попечитель Ботанической академии, человек уважаемый, умеренно богатый, политически безупречный, обмакнул перо в чернильницу и подписал. «Получено». И, наверное, улыбнулся. И, наверное, налил Вэнсу ещё вина.

Палец Лиры дрогнул и отдёрнулся, словно строка была горячей.

Валериан перевернул страницу.

Всего в книге было тридцать восемь записей о Модели II. Двадцать восемь — в Валлории.

Двадцать восемь булавок на карте в кабинете лорда, подумал Валериан. *Он знал. Он отмечал. Он видел, как вокруг его сада, одно за другим, начинают сереть поместья, где стоят такие же машины, — и всё равно надеялся.*

А потом шли другие записи. Другим цветом чернил — красным. Без сумм. Без подписей получателей.

«Модель I (стационарная, промышленная), 12 ед. — Т. О., северный берег. Монтаж — силами Отдела. Подключение к главной магистрали — по графику».

«Модель I, 4 ед. — Колл. №9, нижний ярус. Перекачка. Временно».

«Модель IV (корневая), 40 ед. — по договору с посольством С.-Э. Отгрузка — через квартал М. Ф., с согласия Оябуна (?). Оплата — эссенцией, по курсу Палаты».

«Модель III (пробная, обратного тока) — изъята мастером К. без разрешения. Местонахождение — Валлария (?). ДОЛОЖИТЬ О.»

И последняя запись, на последней заполненной странице, торопливая, кривая, с кляксой:

«Отдел закрывает Товарищество. Вэнс — в Т. О. Курьер с копией книги уходит в квартал М. Ф., к Оябуну — пусть знает, что они делают с его…»

Дальше — клякса. И ничего.

Валериан долго смотрел на эту запись. Потом медленно закрыл книгу.

Курьер с копией книги уходит в квартал Мокрых Фонарей. Мешочек. *Курьер не должен дойти до Мокрых Фонарей.* Рыжий детина с ножом в левой руке. Человек в сером, с тихим сухим голосом, забравший мешочек.

Курьер с лотосом без сердцевины на запястье, висевший на решётке Третьего шлюза. В то самое утро, когда Олдрик вызвал его на сорок второй этаж.

— Т. О., — сказала Лира тихо. — Это ведь Тихая Обитель, да? Исправительный дом Коллегии? Двенадцать машин — промышленных — в исправительном доме? Зачем? Там же нет земли. Там же только…

Она не договорила.

— Люди, — сказал Валериан. — Там только люди.

Лира смотрела на него, и он видел, как до неё доходит — медленно, слой за слоем, как вода просачивается в сухую землю. Машина, которая пьёт сад. Машина, которая пьёт землю. Двенадцать машин в доме, где нет земли.

* * *

Они вышли из дома номер девять, когда снаружи уже стемнело. Валериан закрыл железную дверь, повесил на неё замок — с той же нетронутой фиолетовой печатью — и защёлкнул. Книга отгрузок и пачка бумаг лежали у него за пазухой, под плащом, рядом с портсигаром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.